

В. ЛЯЛИН
А. СОЛОНИЦИН
А. ТИРАНИН



ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ

Рассказы и повести

Алексей Солоницын
Человек на войне (сборник)

Православное издательство "Сатисъ"

2008

Солоницын А. А.

Человек на войне (сборник) / А. А. Солоницын — Православное издательство "Сатись", 2008

ISBN 5-7373-0105-2

В книгу вошли повести о Великой Отечественной войне А. Солоницына, А. Тирана и В. Лялина. По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА.

ISBN 5-7373-0105-2

© Солоницын А. А., 2008
© Православное издательство
"Сатись", 2008

Содержание

В. Лялин	6
А. Тиранин	13
Конец ознакомительного фрагмента.	58

В. Лялин, А. Солоницын, А. Тиранин

Человек на войне (сборник)

© В. Лялин, А. Солоницын, А. Тиранин, текст, составление, 2008

© Издательство «Сатисъ», 2008

В. Лялин

Человек на войне

Михаила Ивановича Богданова призвали в действующую армию только в начале 1943 года. Его не забирали раньше, потому что, во-первых, он не подходил по возрасту: ему было под пятьдесят, во-вторых, он служил в пожарной команде, а пожарники в блокадном Ленинграде были ой как необходимы, и, в-третьих, у него была многодетная семья – восемь детей мал мала меньше. Но все же и его взяли, потому что к 1943 году немцы порядочно обескровили нашу армию и убитым, раненым и плененным счет шел уже на миллионы. Поэтому и стали брать стариков. В основном-то они и вернулись с войны, в то время как цвет нации – молодежь – полегла в землю или томила в немецком плену. Еще в предвоенные времена все пожарники обязаны были пройти медицинские курсы по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Михаил Иванович когда-то эти курсы прошел и, отправляясь на сборный пункт военкомата, захватил с собой это свидетельство о медицинской подготовке. Он был глубоко верующим православным человеком. И вера его была не просто приложением к жизненному укладу, это был воистину православный образ жизни. Вся его многочисленная семья, состоящая из простых немудреных людей, от мала до велика, жила в ритме недельного и годичного церковного круга. Утренние и вечерние молитвы справляли всей семьей, мясоеды сменялись постами, тихо и благоговейно отмечали все церковные праздники и события.

И когда в военкомате отцы-командиры, посмотрев его медицинский документ, зачислили Михаила Ивановича в санинструкторы, то он был вне себя от радости, что ему не придется убивать, а потому он не нарушит Божию заповедь – НЕ УБИЙ. Но война есть война, и ему волей-неволей пришлось убивать, чтобы самому не быть убитым.

Хотя Михаил Иванович уже успел побывать на двух войнах, Первой мировой и Гражданской, но его все равно заставили пройти курс молодого бойца. В том году призывались молодые ребята 1925 года рождения – поколение, впоследствии почти полностью погибшее в огне войны, и старый солдат не столько сам учился, сколько учил эту молодежь выживать на войне.

В начале лета Михаил Иванович со своей дивизией оказался на Орловско-Курском направлении. Был он сметливым и расторопным русским человеком, и поэтому перед каждым боем старший врач полка вызывал его к себе и вместе с ним прикидывал санитарные и безвозвратные потери живой силы, т. е. тех, которые еще пили, ели, писали домой письма, смеялись, курили, читали Зощенко или «Как закалялась сталь». Кто-то из них завтра, расчлененный взрывом, превратится в разбросанные грязные куски мяса, которые будет собирать в пятнистую плащ-палатку похоронная команда, кому-то оторвет ногу, кому-то голову, кого-то хрипящего, с кровавой дырой в боку, понесут на носилках. И все это на казенном языке называется «санитарные потери». Вот для этих самых санитарных потерь, которые сегодня еще были веселы, живы и здоровы, старший врач полка планировал с Михаилом Ивановичем, сколько надо заготовить перевязочного материала, сколько развернуть хирургических палаток полкового медицинского пункта, сколько понадобится транспорта для эвакуации раненых, а также какие требуется дать инструкции похоронной команде.

Сражение летом 1943 года на Орловско-Курской дуге было сущим адом. Земля буквально кипела и вздымалась от разрывов снарядов и мин и бурно перепахивалась гусеницами тысяч сшибающихся русских и немецких танков. И среди этой скрежещущей и взрывающейся стали в лавине огня металась слабая человеческая плоть, такая уязвимая, страстно желающая жить, но в этом дьявольском огненном котле преданная только смерти. Даже солнце скрылось в эти дни в тучах пыли и дыма, словно и оно не в силах было взирать на эту чудовищную бойню, которую устроили на Богом созданной земле люди.

И так изо дня в день, то ведя бои, то маршируя в походном строю по грязным болотистым дорогам, оставляя лежать в земле погибших товарищей, дивизия, в которой служил Михаил Иванович, пройдя с боями Белоруссию, вошла в пределы Польши. И в Польше также продолжались ожесточенные бои со стойкими солдатами вермахта, которые все еще были твердо верны присяге, генералам и своему «великому фюреру». Это была одна из лучших армий мира, но все же сила силу ломит, и немецкая армия, бешено сопротивляясь, медленно откатывалась на запад.

А Михаил Иванович, уже с широкой лычкой на погонах, в звании старшего сержанта, все, по-прежнему, вызволял раненых с поля боя.

В один из тяжелейших дней жесточайших боев с отборной дивизией СС «Галичина» наша контратака захлебнулась, и наступило затишье. Над полем кружило воронье, крадучись, обшаривали трупы несколько мародеров, то здесь, то там кричали раненые, по полю, пригибаясь, побежали санитары. Михаил Иванович где по-пластунски, где перебежкой передвигался по полю боя. Миновав обширную воронку, он приметил ее для гнезда, куда можно будет стаскивать раненых. Он подползал то к одному, то к другому лежащему телу и быстро определял, кто жив, а кто мертв. Наскоро остановив кровотечение и перевязав, он вместе с оружием стаскивал раненых в воронку. Сделав десять ходок, он заполнил ее ранеными бойцами. Отдышавшись, весь в испарине, он открыл свою фельдшерскую сумку и, достав всякую медицинскую снасть, начал кого подбинтовывать, кому поправлять жгут, кому прямо через одежду делать укол обезболивающего.

– Эй, дядя, смотри, эсэсовцы идут! – хрипло прокричал один из раненых.

– Кто может стрелять, ко мне, – скомандовал Михаил Иванович.

Таковых нашлось только двое. Михаил Иванович подтянул к себе автомат Судаева, положил рядом два полных рожка и несколько лимонок, которые собрал у раненых, и приготовился. Группа эсэсовских автоматчиков, пригнувшись, быстро приближалась к воронке.

«Ох, грех, грех! Сейчас учиню смертоубийство, – лихорадочно думал он. – Вот ведь держался доселе, а теперь надо их отогнать, надо спасти своих». Сколько раз он видел расстрелянных в гнезде раненых вместе с санитаром. «Господи, прости меня, окаянного», – прошептал он, прилаживая к плечу приклад автомата. Эсэсовцы уже успели подойти довольно близко. И он полоснул по ним длинной очередью. Некоторые упали, сраженные, остальные залегли. Началась перестрелка. Михаил Иванович, собрав все силы, метнул в сторону врага две лимонки. После взрывов немцы ответили тоже гранатой, которая точно упала в воронку. Граната была удобная для броска, с длинной деревянной рукояткой, она зловеще шипела. Санитар быстро швырнул ее назад. Граната, не долетев, взорвалась в воздухе.

– Выручайте, выручайте, братцы! – тоненько кричал один из раненых.

– Сейчас вызволят, – успокаивал их Михаил Иванович.

– Гля, братцы, уже отползают, вот уже побежали назад!

– Вот и наш взвод на помощь бежит!

Когда была возможность, Михаил Иванович уходил помолиться в небольшую рощицу. Он ставил на пенек медный складень деисусного чина и горячо, со слезами, молился – и за живых, и за убиенных, и за наших, и за немцев.

Как-то раз, направляясь в рощицу, в канаве у проселочной дороги он заприметил лежащий труп немецкого солдата. Это был совсем еще молодой паренек. Он лежал навзничь, широко раскинув руки, стальная каска свалилась с его головы, и легкий ветерок шевелил его белокурые волосы. Лицо солдата, уже чуть тронутое тлением, было искажено предсмертным страданием, по губам и глазам ползали крупные зеленоватые мухи. Сапоги с него были сняты, карманы вывернуты.

Михаил Иванович сходил за лопатой и стал копать рядом могилу. Свалив труп в яму и бросив на него каску и винтовку, он засыпал тело, аккуратно подровнял могильный холмик, прочитал над ним краткую заупокойную литию и пошел прочь.

Через полчаса, когда он на пеньке выпрямлял проволоочные шины, необходимые для раненных в конечности, его вызвали к батальонному комиссару.

– Богданов, мне доложили, что ты похоронил фрица.

– Да, товарищ комиссар, было дело.

– А твое ли это занятие? И зачем ты его закопал, из санитарных соображений или из жалости?

– Из жалости.

– Так, значит, ты пожалел врага?

– Значит, пожалел.

– Так ведь это враг! Пусть его вороны расклюют и волки растащат, а ты пожалел.

– Это уже не враг, это убиенный человек, и его надо погребсти, предать земле, ведь он тоже Божие создание.

– Ты что, верующий?

– Да, верующий!

– Так ведь Бога нет!

– Товарищ комиссар, что нам об этом говорить. Смерть витает над нами. Сейчас мы живы, а завтра нас тоже, может быть, уже закопают.

– Ну, ладно, Богданов, чтоб это было в последний раз. Солдат должен всегда ненавидеть врага – и живого, и мертвого. Ты понял?!

– Так точно, понял.

– Но все же ты должен понести наказание. За спасение от врага десяти раненых бойцов ты был представлен к ордену Славы, но за твой недостойный поступок придется представление к ордену отменить. Можешь идти.

Михаил Иванович шел, грустно размышляя: «Бог с ним, с этим орденом, зато доброе дело сделал, убитого похоронил».

Около санитарной палатки рядом на бревне сидели и курили легкораненные. Перед ними с винтовкой за спиной стоял незнакомый мордастый солдат, и они о чем-то оживленно разговаривали.

Михаил Иванович подошел и прислушался. Разговор шел о вере.

– Так вот она, – говорил мордастый, – Богородица, была простая баба. Ну, родила она Христа, выполнила свое предназначение и шабаш! А вот православные ее в Царицы Небесные зачислили.

От этих слов и поношения Владычицы у Михаила Ивановича все закипело в груди.

– Постой, постой, что ты мелешь, дурак ты этакий?! Ты что – баптист? – наскочил он на нечестивца.

– Ну, чо ты, чо, иди своей дорогой. Ну, хотя бы и баптист, а что такое?

– А вот что такое!

Старый пожарник, размахнувшись, так вломил обидчику Богородицы, что тот, громяхая винтовкой, покатился по земле.

– Ну, что ты пристал, что пристал-то? – вытирая красные сопли, заскулил баптист.

Михаил Иванович поднес к его носу кулак величиной с небольшую дыньку и прокричал:

– Ах ты, гнида, убирайся отсюда, если я тебя еще раз здесь увижу, то все кости переломаю! А вы, ребята, сидите, уши развесили и врага Христова слушаете. Нехорошо, плохо.

– Да мы, дядя Миша, так ведь, от скуки.

В Польше, в районе реки Вислы, продолжались тяжелые, изнурительные бои. Михаил Иванович до того замотался, что спасался только тем, что, когда было немного времени,

садился где-нибудь в сторонке и творил Иисусову молитву. Если бы не эта молитва, то он, доведенный до предела ежедневным зрелищем страдающей человеческой плоти, изуродованной и умирающей юности, наверное, тронулся бы умом. Хотя и теперь его часто мучила бессонница, да и во сне посещали видения и странные мерцающие зыбкие образы. Сам он уже не выносил раненых с поля боя. Ему присвоили звание младшего лейтенанта, и он теперь уже сам был старшой, имея под своей командой взвод санитаров. Его делом была теперь сортировка и эвакуация раненых. Целый день, обходя шеренги лежащих на носилках бойцов, стараясь не смотреть в умоляющие о помощи глаза, он занимался сложным делом: оценкой их состояния. В сумке у него имелся целый набор цветных карточек, которые он прикреплял к повязкам: красные – срочная хирургическая помощь, желтые – во вторую очередь, синие – в третью.

Его полк, неоднократно почти полностью терявший весь свой личный состав, постоянно пополнялся. Бывало и так, что от полка оставалось полковое знамя, командир полка и фельдшер Богданов. Видно, по его молитвам Господь и Ангел Хранитель берегли его, так что он даже ни разу не был ранен. За тяжкий труд на поле боя, за спасение около сотни раненых он получил два ордена Славы, Красную Звезду, орден Отечественной войны и медали. Начальство благоволило к нему и даже разрешило носить бороду. Как-то, предельно утомленный, он заснул в палатке на носилках с пятнами заскорузлой крови. И вот во сне видит, как из урочища Волчий ляс, вблизи немецких позиций, выходит ветхий старец – схимник с посохом, с куколем на голове. Он тихо ступает по минному полю и, встав около пенька, говорит Михаилу Ивановичу:

– Рабе Божий Михайло, прииди завтра сюда на сретение со мной, и я поведаю тебе, как спасти свою душу и сохранить жизнь.

Михаил Иванович как бы ему отвечает:

– Честный старче, как же я приду на сретение с тобой, если там, в урочище Волчий ляс, минное поле?

– Приходи, сынок, не бойся. Эти мины не про нас поставлены.

– А кто ты, старче?!

– Когда придешь, скажу.

– А вот я тебя сейчас ожгу крестным знамением и посмотрю: от Бога ты пришел или от лукавого! – Михаил Иванович во сне три раза крестит старика, но тот не исчезает. – Значит, от Бога ты пришел. Ну и я тогда завтра приду в урочище Волчий ляс.

На следующий день в боях случилось затишье, и Михаил Иванович отправился в урочище. Вот здесь начинается минное поле, а вот, вдали, и полянка с пеньком, которую он видел во сне. Жутко было ему идти через минное поле. Мины, в основном, были противопехотные, но, вспомнив слова старца, что эти мины не про нас поставлены, он три раза перекрестился и, откинув всякое сомнение, тихой сапой двинулся к пеньку. Ему не раз приходилось вытаскивать раненых с заминированных полей, и у него уже выработалось тонкое чутье, куда безопаснее ступить, открывалось как бы второе зрение, и он по каким-то ему одному ведомым признакам различал, где земля была тронута, а где нет.

«Вот искушение! – думал он. – И куда же я прусь? Или ноги мне оторвет, или в плен попаду. Неужели я совсем спятил? А ну как старик не придет? Может, было мне просто сонное наваждение? Нет же, раз старец сказал, значит, я должен выполнить послушание».

Он перестал сомневаться и стал громко творить Иисусову молитву. Так незаметно и благополучно подошел он к пеньку и сел. Ожидать пришлось недолго. Из леса появился монах. Он был точно такой, какой являлся ему во сне. Лица почти не было видно, его скрывал низко опущенный куколь, облачение схимника, в крестах и надписях, волочилось краями по земле. Монах приближался, словно бы скользя по земле и не перебирая ногами. Без всякого вреда для себя он пересек минное поле. Приблизившись, осенил Михаила Ивановича крестным знамением и благословил его, после чего заговорил тихим гласом:

– Я пригласил тебя сюда, на это опасное поле смерти, чтобы нашему сретению никто не помешал. Я знаю, что силы твои на исходе, что ты смертельно устал от войны, что тебе, православному, во сто крат тяжелее здесь быть, чем безбожникам. Я также знаю, что ты задумал недоброе, чтобы выйти из войны. Эти помыслы у тебя возникли от отчаяния и усталости. Не делай этого! Если сделаешь, то погибнешь сам и рассеется и погибнет твоя семья. Крепко молись и терпи, войне скоро конец. И ты невредимым вернешься домой и еще долгие годы будешь жить на белом свете, хваля Господа, а перед смертью Бог для испытания веры, как Иову праведному, пошлет тебе тяжелую болезнь. Благословение Божие да почует на тебе.

– Скажи, кто ты?!

– Я – игумен Сергей.

– Живой или дух?

– Как видишь, живой.

И монах скрылся в лесу. Михаил Иванович в оцепенении сидел на пеньке. Двое саперов с миноискателями на плече проходили по краю минного поля. Один вдруг остановился.

– Слушай, Кузьма, кто-то из наших сидит на пеньке как раз посередине минного поля. Ну-ка, дай биноклю. Так и есть. Это же наш полковой фельдшер. Але! Иваныч, ты, что ли, там?! Эй, слышь меня? Мать-перемать! Куда ты вперся, старый мерин! Здесь минное поле! Как ты прошел, старый бес? Ангелы тебя, что ли, перенесли?! Сиди себе. Не вставай, не вставай! Не вертуйся. Сейчас вызволим. Мы сейчас к тебе проход сделаем... Ну, здорово, старина! С тебя банка спирта, а то опять тебя заминируем... ха-ха-ха! Пойдем отселева. Ступай за мной шаг в шаг.

Старик улыбнулся в усы:

– Ладно уж, будет вам спиртыга. – Посмотрев искоса, с лукавинкой на своих спасителей, он заголосил: – Ой, братцы, как же это меня не разорвало?! Какое-то помрачение нашло. Красивая полянка. Увидел, сердце зашло. Даже не подумал, что здесь минная заградзона. Поперся. Но Бог сохранил.

– Бог-то Бог, да и сам будь не плох. А сохранил тебя потому, что ты знаешь, как передвигаться по минному полю. Ну, пойдем отселева. Ступай за мной шаг в шаг. Пошли.

Слушая рассказы Михаила Ивановича о войне, я всегда становился в тупик, когда дело доходило до встречи со старцем на минном поле. Я его спрашивал: «Да было ли это въяве или, может, это призрак какой?» Он отвечал, что в это время дошел до крайности в своем психическом и физическом состоянии. И ему уже было безразлично, погибнет он на минном поле или нет. Даже казалось, что было бы лучше ему погибнуть. Он так устал от войны, крови, смерти, что даже завидовал мертвым, которые уже отдыхали от грохочущего ужаса войны, а он все еще не мог отдохнуть. И еще, он не мог совершенно определенно сказать, что было вначале: встреча со старцем или сон. А минное поле манило его, притягивало, и он пошел туда, как на первое свидание.

– Ну, а старец был?

– Старец-то был.

– Настоящий или призрак?

– Старец настоящий. После я узнал, что в урочище был православный скит. В Польше тоже есть русские православные люди, но я до сих пор думаю, что ко мне выходил сам Преподобный Сергей Радонежский.

Я больше не стал допытываться у Михаила Ивановича, потому что сам знал, что такое война, а на войне все бывает.

Когда еще только вошли в Польшу, и ярость боев нарастала, а поток раненых увеличился, Михаил Иванович вспомнил, что в Первую мировую войну в Галиции раненых приспособились вывозить с поля боя на двуколках. Вспомнил он об этом потому, что у одного хозяина-поляка увидел такую крепкую двуколку и договорился обменять ее на лошадь. Лошадей

в обозе было много, и ему за бутылку медицинского спирта дали пару лошадей. Он оставил себе пегую мосластую кобылку, которую назвал Шваброй за ее лохматую гриву и густую челку, спадающую на глаза. Это была смиренная, крепкая и послушная лошадь и хорошо ходила в двуколке, но погонять ее надо было немецким криком «Й-о, о-йат!» Дело у Михаила Ивановича пошло споро. Лазая по местам боев, он собирал раненых в гнездо, подъезжал, грузил их в двуколку и быстро увозил. Не раз немецкие снайперы охотились за ним, но Господь его хранил. Один раз они отстрелили лошади ухо. Другой раз пуля попала в медаль «За отвагу», прямо против сердца. Толи пуля была на излете, то ли Бог спас, но она только покорежила медаль, а дальше не пошла. Так и застряла в медали, вызвав на груди багровый кровоподтек. Михаил Иванович с гордостью носил эту покореженную медаль и, щелкая по ней ногтем, говорил:

– Вот вам доказательство, что Бог есть. Жив Господь!

А после любил рассказывать, как с поля боя тащил солдата, которому немецкая мина небольшого калибра, выпущенная из миномета, попала в плечевой сустав и, не разорвавшись, застряла там в мышцах. Спереди торчал стабилизатор, сзади головка. Михаил Иванович вынес солдата с поля боя с оружием и положил в стороне от гнезда. Сделав ему обезболивающий укол, он прочитал молитву: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небесного водворится...» Перекрестился три раза, перекрестил раненого, перекрестил мину и с Иисусовой молитвой благополучно удалил взрыватель. За это его представили к ордену Отечественной войны II степени.

Лошадка очень ему помогала в деле вывоза раненых с поля боя, и об этом скромном фельдшере знал даже командующий армией. Однажды, когда он на своей двуколке ехал к передовой линии, его засекла немецкая артиллерия и обстреляла осколочными снарядами. Михаил Иванович соскочил с двуколки, поставил ее за кирпичный сарай, а сам спрятался в этом сарае. Снаряды продолжали рваться снаружи. Вдруг раздался сильный грохот в дверях, двери повалились, и в сарай ворвалась обезумевшая от страха лошадь с висящими по обеим сторонам постромками. На боках и спине у нее было множество мелких ранений, по шкуре и по ногам струйками стекала кровь. Зубы ее были оскалены, уши прижаты, и она тонко и визгливо ржала. Бросившись к Михаилу Ивановичу и продолжая визжать, она, как испуганный ребенок дрожа, спрятала свою голову ему под мышку. Михаил Иванович обхватил ее голову руками, гладил и целовал лошадку, бормоча в умилении:

– Ну ладно, хватит, успокойся, Швабрушка, успокойся. Сейчас поедем назад, и я тебе дам овса.

Он ее огладил, перекрестил, и лошадь успокоилась. Ранения у нее были мелкие, поверхностные, и через неделю она уже была здорова. После присвоения Михаилу Ивановичу звания младшего лейтенанта он был поставлен на сортировку раненых и с лошадью своей расстался, отдав ее в хорошие руки одному польскому крестьянину.

Однажды, проходя мимо артиллерийской батареи, он остановился и понаблюдал, как пожилой артиллерист-наводчик отливает из олова ложки.

– Ловко, брат, у тебя получается, – похвалил его Михаил Иванович. – Сделай-ка и мне такую.

Наводчик поколдовал над своей снастью и вскоре подал Михаилу Ивановичу еще горячую ложку.

– Знатная ложка, – повертев ее в руках, сказал тот. – Ну, что я тебе должен за нее?

– Да ничего, пользуйся на здоровье.

– Ну, спасибо, дай Бог тебе со своими орудиями дойти до Берлина и живым и невредимым вернуться до дома, до хаты.

– Спасибо на добром слове, – сказал наводчик.

И вот сейчас, в 1999 году, хлебая этой ложкой щи или продовольствуясь горячей кашей, я перед трапезой всегда поминаю моего дорогого Михаила Ивановича, который учил меня

доброте, наставлял в православной вере и любил мне рассказывать жития святых или что-нибудь из Пролога. Он был из крестьян Нижегородской губернии и всем своим обликом был очень похож на Льва Толстого. А жития святых он рассказывал так:

– И вот злокозненный царь Ирод воспылал яростью, нажал на кнопочку звонка и вызвал свое НКВД: «Вот что, ребята, отправляйтесь за этими волхвами и вызнайτε, куда они пойдут».

Или еще так:

– И, узнав о чудесах и исцелениях, которые творит Христос, прокаженный Эдесский царь Авгарь вызывает своего личного фотографа и приказывает ему: «Садись на самого быстрого ослика, скачи в Иерусалим и сфотографируй батюшку Иисуса Христа, да быстрее, а не то голова с плеч».

Михаил Иванович участвовал со своей дивизией в штурме Берлина, в последний раз он опять взялся выносить раненых из-под огня. Хотя он уже был стариком, но силенки ему было не занимать. Был он силен и телом, и духом, этот русский человек. Подойдя после взятия Рейхстага, он расписался на его стене:

Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Михаил Иванович Богданов из Ленинграда

Старик уже упокоился на Серафимовском кладбище, неподалеку от могилы молоденького десантника, погибшего в Афгане.

Умирая, Михаил Иванович плакал и говорил:

– А помилует ли меня Господь? А ну как не помилует?

После отпевания и погребения, откушав поминальных блинов, игумен Прокл откинулся к стенке и, сложив руки на животе и поворачивая в одну и в другую сторону большими пальцами, сказал:

– Вряд ли ему будет отказано в Царствии Небесном, напрасно он беспокоился перед кончиной.

Помню, еще за месяц до исхода я просил Михаила Ивановича, Бог весть каким образом, дать мне знать оттуда, как и что там. Но он, строго нахмутив кустистые стариковские брови, твердо сказал, что между нами и ими ТАМ стоит непреодолимая преграда и передать сообщение с того света невозможно. Но, видно, для русского солдата нет непреодолимых преград, и как только закончили по Псалтири читать Сорокоуст, так явился он мне во сне, свежий видом и полный сил, почему-то в небесного цвета иерейском облачении, поправляя которое большой крестьянской рукой, сообщил, что повышен в звании, что на новом месте все как надо, приняли хорошо, и довольствие идет как положено, и уже успели побывать в гостях у Владычицы.

Проснувшись утром, я вспомнил этот сон, и мне было приятно и радостно, что ТАМ так уважали старого солдата.

Вечная тебе память, русский солдат, прошедший через огонь трех страшных войн.

ВЕЧНАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ!

А. Тиранин

Шел разведчик по войне

*Отцу моему, блокаднику, матери моей, труженице тыла, и всем,
от юности и отрочества прошедшим ту страшную войну, посвящаю...*

Низкие облака стущают без того немалую предрассветную тьму. Время от времени в ней пытаются пробить брешь вспышки осветительных ракет, но, не достигнув успеха и едва одолев зенит, быстро иссякают, никнут к земле и пожираются тьмой, да пулеметы короткими трассирующими очередями прочерчивают длинные, но недолговечные пунктиры. Мороз несильный, но мозгло, сыростью и холодом протягивает насквозь. Хочется тепла.

Часовой прошел по окопу к ходу сообщения и тихонько спросил у собрата, переминавшегося возле двери блиндажа.

– Коль... Никола... на затяжку не найдется?

– Нет... Говорил уже... – равнодушно отозвался Никола.

В блиндаже лейтенант. Сладко спит сидя, положив голову щекой на вытянутые вдоль столешницы руки. В такт посапыванию медленными толчками сползает с его головы ушанка, открывая свету тусклой, заправленной трансформаторным маслом, копилки белесый чуб и редкие конопушки на круглом и курносом лице.

Кроме лейтенанта в блиндаже подполковник с артиллерийскими эмблемами. Среднего роста, крепко сбитый, с недлинной, но густой шевелюрой, набегающей от темени на лоб тупым клином, и вытянутыми мысиками от висков. О лице его, широком и продолговатом, можно было бы сказать «ящиком», если б не сглаживал его мягких очертаний подбородок.

Подполковник нервничает. Много курит, ходит по блиндажу, часто посматривает на часы. Да иногда, с завистью, на безмятежно спящего лейтенанта. Впрочем, завидовать особенно нечему, умотался воин.

Может быть, время подошло, или нервы решил успокоить, надевает шапку, поправляет накиннутую на плечи шинель.

Лейтенант неведомым образом почувствовал намерение начальства, встрепенулся, помогал головой.

– Пора, – подполковник сказал тихо, но четко и резко, точно подстегнул.

Лейтенант молча кивнул, надел шапку, шинель.

– Проверь, чтоб все было нормуль. Приступки поставь плотно, чтоб не качались и не скрипели. И чтоб до окончания мероприятия по окопу никаких хождений, – так же тихо, но твердо приказал подполковник. И за твердостью той слышалось: не будет нормуль, голову откручу, медленно и без наркоза. – Сразу же, как закончим, приступки убери. Лично. Если я по каким-то причинам не смогу убрать.

– Есть! – покорно внешне и согласно внутренне ответил лейтенант: они делали важное дело, не допускающее промахов и даже малейших огрехов.

– Патроны проверь.

– Проверил, – ответил уверенно и в подтверждение повернул к подполковнику запасные диски, отстегнул диск своего ПППШ и в нем показал такие же зеленые головки – трассирующие пули.

– Пулеметчиков проверь и еще раз проинструктируй: чтоб трасса шла четко по центру прохода. Ни сантиметра вправо, ни сантиметра влево. Строго по центру. Так и передай: на сантиметр вправо, на сантиметр влево от заданного азимута – под трибунал пойдут.

– Проверю.

– И сам директрису точно держи, не то что градуса – ни минуты, ни секундочки в сторону. Понятно?

– Так точно, понятно, – лейтенант, по-прежнему, собран, покорен и согласен. Ведь они вместе делают одно очень важное скрупулезное и ответственное дело.

– Тогда ни пуха, ни пера. И, как говорится, с Богом.

Лейтенант из блиндажа пошел по окопу. За изгибом на минутку остановился, быстро, но осторожно, не стукнув и не брякнув, сложил двумя ступеньками снарядные ящики, надавил ладонью, потом и ногами проверил. Плотно стоят, не качаются и не скрипят. Как говорит подполковник – нормуль.

Поднял взгляд над бруствером, присмотрелся. Трассы пулеметов с нашей стороны шли короткими очередями, но часто, порой перекрещиваясь над нейтральной полосой. Так и должно быть.

Двумя-тремя минутами позже вышел подполковник.

– Холодно? – спросил у часового.

– Не так холодно, как противно. Климат здесь сырой.

– На болоте рожденный... – согласился подполковник.

Прикрывая полую шинели огонь зажигалки от несильного, но резкого ветра и еще больше от противника, закурил. Сделав пару затяжек, протянул портсигар часовому.

– Согрейся.

– Не положено на посту, – для порядка отказался тот.

– Если аккуратно, то ничего страшного. Давай заслону, – оттянул полу шинели, чиркнул зажигалкой, дождался, пока солдат прикурит, и погасил. – Присядь. Увидят огонь с той стороны, в момент мину пришлют. А я разомнусь немного и в случае чего шумну. Сиди.

Подполковник погасил свой окурочок, положил его в выщербленную стенку блиндажа и по ходу сообщения вышел в окоп. Часовой в окопе повернулся, чтобы уйти, но подполковник догадался: видел, как он сам курил и дал закурить солдату. Вроде неловко теперь. Предложил и этому. Он, как и первый, сначала отказался, но долго упрямиться не стал. Закурив, солдат из вежливости решил отойти, но подполковник и его усадил на дно окопа.

– Кури спокойно, я посмотрю. – И, похоже, был не прочь поговорить. – Сам откуда?

– С Васильевского.

– Питерский, значит. Можно сказать, местный. А родные где?

– Отец на фронте. На Юго-Западном.

– Переписываетесь?

– Да... Только от него давно уже ничего не было. Месяца два.

– Сам знаешь, сейчас там жарко, не до писем. Фашисты своего фельдмаршала Паулюса освободить пытаются. Не унывай, станет полегче, напишет. А кроме отца есть кто?

– Мать. Здесь, рядом, в Ленинграде.

– Держится?

– Держится. Только... Не самая ж большая она грешница на белом свете. Не понимаю, за что ей так мучиться...

– В Ленинграде всем сейчас нелегко. И бомбежки, и обстрелы. И с продуктами не густо... Ты уж сам не раскисай и ее, по-мужски, поддержи, – попробовал подбодрить солдата подполковник. – Письма почаще пиши. Может, банку консервов или хлеба буханку с оказией переправишь. Отпускают навестить?

– Отпускают. Редко, но отпускают.

– Так война.

– Понимаю. Про войну я понимаю. И про обстрелы, и про бомбежки, и про нехватку продуктов, это я все понимаю. Я не понимаю другого, как могут нормальные люди, соседи, с которыми в одном дворе жили, столько лет знакомы, дружили даже... – Голос у солдата

перехватило. Гулко сглотнул. Но голоса тем не поправил и быстрым и хрипловатым шепотом завершил: – Да какие они нормальные... и не люди вовсе...

Подполковник дал время солдату успокоиться и спросил:

– А что такое?

– Тяжелая история. Стоит ли...

– Расскажи.

– В прошлую зиму... Мать осталась с младшими... Сами знаете, какая зима была. Послала Кирюшку, братишку моего младшего, десять лет ему к той поре уже исполнилось... за дровами послала... В дом поблизости бомба попала. Пойди, говорит, щепок каких-нибудь для печки набери. Самой-то... сил нет. После работы, почти две смены у станка отстояла, да восемь остановок пешком в каждую сторону на блокадном пайке. И рискованно самой. Если патрульные застанут, мародерством, скажут, занимаешься. И ладно, если только оштрафуют. А с детей какой спрос, прогонят и все. Ждут они его, ждут, а ни дров, ни Кирюшки. Посылает тогда Танюшку, сестренку, она на два года старше Кирюшки. «Иди, встретить, – говорит, – да задай ему хорошенько, чтоб не шлялся неведомо сколько». Ушла Танюшка и тоже пропала. Ну, мать тут уже не сердиться, беспокоиться начала. Оделась и тоже к разбитому дому. Добрела, как могла, а их нет.

Повернула обратно, стала встречных людей расспрашивать: ни налета, ни обстрела не было, куда дети могли пропасть? Никто не видел. Возле дома соседа встретила, дядю Борю Евстифеевкова, воду на саночках с Невы вез. Он и говорит: «Как же, видел. Возвращался когда с завода, видел, Кирюшка ваш с жиличкой из 34-й квартиры через двор шел, я про это потом, когда пошел за водой, Тане сказал. Она сразу пошла в 34-ю, а я – на Неву».

Не знаю, была б жива мать, если б сосед не смекнул, что может быть беда, да патруля поблизости не оказалось. Позвали патрульных – и в 34-ю. По двору шли, видели дым из трубы, через форточку выведенной, и свет от коптилки. Значит, дома. Стали стучать, не открывают. А мать, дядя Боря рассказывал, как закричит, как запричитает в голос: «Здесь они, здесь! Сердцем чую! Беда с ними!»

Выбили выстрелами замок и задвижку. А там жильцы из 34-й, муж с женой. И Кирюшка с Танюшкой. Танюшка головой в корыте, кровь с горла стекает, а у Кирюшки голова отрезана и внутренности его рядом, в тазу. К людоедам попались.

Тут же их порешили, даже во двор выводить не стали.

За спиной солдата, в полутора-двух десятках метров, из-за огромного валуна в окоп неслышно проскальзывает едва различимая в темноте серая фигурка. Из окопа она поднимается по ступенькам из снарядных ящиков, буквально перетекает через бруствер на нейтральную полосу и, пластаясь по снегу, умело укрываясь то за валунами, то в неглубоких, затопленных и покрытых льдом воронках, осторожно, но уверенно движется в сторону немецких окопов, придерживаясь трассирующих пунктиров, прочерчиваемых пулеметом, – они указывают проход в минном поле. При вспышках осветительных ракет можно разглядеть, что это мальчик лет одиннадцати-двенадцати в серой кроличьей шапке и в светло-сером с овчинным воротником зимнем пальто. За ним, с интервалом в несколько секунд, преодолевает окоп человек в маскхалате. Но ползет не по следу мальчика, а немного в сторону, к горушке на нейтральной полосе.

– Мать с того дня заговариваться стала. «Я, – говорит, – виновата, собственных детей на смерть послала». А после совсем головой повредилась. Знакомые, которые с ней работают вместе, говорят: стоит у станка, как не живой человек, а будто машина какая. Работу всю делает, без брака и ошибок, а о чем другом заговори, ничего не понимает. Закончится смена, посидит у огня, у них в цеху из двухсотлитровой бочки что-то вроде буржуйки сварено, погрееется, кипя-

точку попьет, передохнет, сил наберется, чтоб в столовую на третий этаж подняться. Поднимется, пообедает и на другую смену остается или на сборку идет, так и работает до изнеможения. А если не работает и силенки хоть слабенькие остались – ходит по развалинам, Кирюшку с Танюшкой ищет. Походит по развалинам, позовет их, поплачет и обратно на завод. Воду в столовую носить помогает или дрова пилить. Тяжело им, женщинам. Одно ведро по двое носят, а дрова, охапку в одиночку не донести, столовая у них, я уже говорил, на третьем этаже, становятся цепочкой и, как по конвейеру, по полену передают, на большее сил нет. Домой почти не ходит. Дома одна, дома холодно. Спит в цеху. Ящики составит, мешок с ветошью под голову, на себя старый войлок обивочный натянёт. Так и спит.

– Эвакуировать бы надо, – подсказал подполковник.

– Никак не уговорить. А насильно... Сама не своя становится, кричит, плачет, на людей бросается. Никуда, говорит, без Кирюши и Танечки не поеду. И на заводе ее ценят, работает хорошо и безотказная, ее и просить-то не надо, сама работу ищет. За это ей то сои, то соевого молока без талонов выделяют, а иной раз и премию – дополнительный талон на обед дадут...

Мальчишка остановился, подобрал возле воронки два камешка-кругляша, обернулся к окопу и тихонько постучал камень о камень.

Солдат, уже докуривший, насторожился, прислушался. Через некоторое время опять стук. Часовой вытянул шею в сторону нейтральной полосы, поправил автомат, чтоб удобнее было стрелять, снял его с предохранителя.

– Что-нибудь не так? – полюбопытствовал подполковник.

– Вроде стучал кто-то, потихоньку.

– Да? Тогда тихо стой, не шевурши ногами. Вместе послушаем. – Подвинулся ближе к часовому и, как бы ненароком, отвел ствол его автомата в сторону.

Послушали. Стук не повторился.

– Показалось. Или ветер скатил, – решил подполковник. И вернулся к рассказу часового. – Жуткая история, что говорить, война, она не только героизм выявляет, она и мерзость человеческую с изнанки наружу выворачивает. Ну, ладно, смотри тут...

– Есть смотреть. Товарищ подполковник, можно Вас попросить...

– Что? Еще папироску?

– Нет. То есть, если угостите, не откажусь. Я о другом попросить хотел. Мало ли, будете у нас в подразделении, не рассказывайте про то, что я Вам сказал. Про мать. И про все остальное. Не хочу, чтобы про нее плохо думали. И служат у нас не только ленинградцы, зачем им про таких нелюдей знать...

– Зовут тебя как?

– Виктор. Рядовой Виктор Симахин, – на всякий случай поближе к уставу отрекомендовался солдат.

– Не скажу, Виктор, – пообещал подполковник и раскрыл портсигар. – Возьми, парочку возьми. Но с условием, выкуришь, когда сменишься. Договорились?

– Так точно.

– Смотри здесь.

Подполковник прошел по окопу, потихоньку, чтоб не стукнуть и не брякнуть, убрал ящики-приступки за окоп, с полчаса еще походил, нервничая и поеживаясь. Но шинель так и не застегнул, лишь зацепил пальцами на груди. Вернулся в блиндаж.

Симахин подошел к ходу сообщения и предположил:

– Наверно, кого-то с той стороны ждут. Особист уже в который раз из блиндажа выскакивает, будто покурить.

– Нам дал покурить – и спасибо. А ждет кого или не ждет, то его забота, – отозвался более практичный и менее любопытный Никола.

На пересечении двух пулеметных трасс мальчик повернул и пополз, ориентируясь на ту, что прежде шла сбоку под углом. Она вывела его к завалу камней. Протиснулся в щель между валунами – ему, невеликому ростом, там можно было достаточно просторно разместиться.

Но здесь еще холоднее, не только холодный воздух, но и промерзшие камни вытягивают тепло из тела.

Мальчик осторожно, чтобы не поднять шума, достал из торбы сухарик, втолкнул за щеку. Сел на торбу, поглубже натянул ушанку с завязанными под подбородком ушами, скрестил руки на груди, засунув ладони под мышки, склонил голову, стараясь дышать за ворот пальто. Так тепло меньше расходуется. Затих и, не отрываясь взглядом от лаза, стал медленно и аккуратно рассасывать сухарик. На дольше хватит и риска меньше – если сильно сосать, то зубы быстрее расшатываются и кровь из десен идет.

* * *

Начало лета 41-го.

В Раухумаа, небольшой карельской деревеньке севернее Ладожского озера, русские солдаты бетонировали силосную яму. Потом внезапно стройку прекратили и вернулись в свой палаточный военный городок, а оттуда вскоре их перебросили еще куда-то, по слухам, на строительство долговременных огневых точек Сортавальского укрепрайона.

Воспользовавшись их отсутствием и решив, что не взято солдатами, то им больше не нужно, ребяташки перетащили лодку-плоскодонку, в которой военные строители размешивали бетонный раствор, в ирригационную канаву. Канавы та была метра четыре шириной да с полсотни метров длиной. Но для них лодка была кораблем, а канавы – морем.

Лодку, как смогли, осмолили, что стоило не только немалого времени, но и ошпаренных смолой голых рук и босых ног. И слез – если брызгал смолу сам, или тычков и затрецин – если брызги смолы летели из чужого черпака, приколоченной к палке консервной банки. Из досок вытесали весла, а уключинами стали прибитые к бортам скобки из сложенных вдвое полосок кровельной жести. Плоскодонку спустили на воду и опробовали. Она вихляла от берега к берегу и нередко врезалась в него. Но просмоленной оказалась довольно удачно и почти не текла. Впрочем, водонепроницаемость, возможно, объяснялась не умелостью просмолки, а пропитанностью ее бетонным раствором.

Однако самым сложным оказалась не подготовка корабля к плаванию, а распределение должностей. Никто из старших ребят не захотел быть простым матросом, зато претендентов на капитанский пост оказалось почти столько же, сколько и участников. Не зарились на него только двое первоклассников, которые были довольны уже тем, что их вообще приняли в команду.

В конце концов порешили установить четыре командирские должности: капитан, помощник капитана, командир команды гребцов, боцман. Капитаном стал Генка Лосев, мальчик, сильно переживавший из-за своего невысокого роста. Поэтому он занимался почти всеми видами спорта, кроме штанги, а чтобы лучше расти, каждый день ел грецкие орехи. Помощником капитана выбрали улыбчивого, доброжелательного ко всем и особенно к добрым людям Шурку Никконена, мальчишку сообразительного на всякие технические хитрости, да к тому же с умелыми руками. А боцманом – Микко (или, по-русски, Мишу) Метсяпуру, наверное для того, чтобы не оставить старшего по возрасту без командирской должности. Общительный и непоседливый, много читавший, любивший пересказывать прочитанное и, мягко говоря, фантазер при этом, он мало соответствовал классическому представлению о боцмане – старом морском волке, суровом, молчаливом, требовательным к себе и к подчиненным. Многие считали его легковесным и несерьезным. Матросами стали два Анатолия, младшие братья Генки

Лосева и Шурки Никконена, неразлучные друзья, у которых на двоих и прозвище было одно – Два-Толяна. А если речь заходила об одном из них, то говорили – Пол-Толяна.

Формально обязанности гребцов возлагались на матросов, но они быстро выдыхались, и на веслах по очереди сидели все, включая капитана.

Днем, как только справлялись с прополкой и другими, порученными родителями, делами или сбегали от этих дел, команда собиралась на берегу возле лодки, то есть возле корабля. Помощник капитана Шурка Никконен строил команду в шеренгу, по вахтенному журналу делал переключку и докладывал капитану, что вся команда в сборе (или отсутствуют такой-то и такой-то). После чего капитан приказывал:

– Команде на корабль!

Все размещались в лодке.

– По местам стоять, со швартов сниматься!

Боцман отдавал швартов – отматывал от вбитого в берег колышка веревку с размочаленным после узла концом. На чем, собственно говоря, все боцманские обязанности заканчивались. По крайней мере, до возвращения из плавания, когда ему надлежало привязать лодку к колышку.

– Полный вперед! – командовал капитан.

– Полный вперед! – повторял помощник капитана.

– Гребцам на весла! Полный вперед! – усугублял команду командир гребцов.

Лодка выходила на середину канавы, чтобы весла пореже цеплялись за осоку и другую водную и прибрежную растительность, а то и за самый берег. А команда славного брига, клипера или фрегата, в зависимости от ситуации, отправлялась к необитаемым островам, исследовала необжитые еще земли или участвовала в безжалостных боях то с пиратами, то с дикими кровожадными туземцами.

Дел предстояло немало. Хотели выровнять площадку, где происходили утренние построения, установить на ней флагшток, сделать два флага, один большой на площадку, другой поменьше, на корабль. И надо было придумать название кораблю.

Но ничего больше не успели – началась война.

* * *

Забрезжило. Высоко в небо ушла автоматная трасса. Потом из той же точки вторая, но пониже, под углом градусов в сорок пять. Пора. Поеживаясь (озяб даже за недолгое, но неподвижное сидение меж камней), мальчик выбрался из укрытия и теперь, не таясь, пошел к немецким окопам, придерживаясь визуальных ориентиров, указывающих безопасный от мин путь. Вдоль автоматной трассы, на расщепленную березку, от нее на «седло», на камень с выемкой посередине, дальше на пенек, потом на воронку, которую надо обойти справа...

– Хальт!

Остановился.

– Хенде хох!

Поднял руки.

– Ком!

С поднятыми руками подошел к немецкому окопу и спрыгнул в него.

Подполковник дождался лейтенанта.

– Нормуль?

– Так точно.

Кивнул в знак одобрения, попросил «сварганить чайковского» и опять вышел из блиндажа. На этот раз шинель надел в рукава и пуговицы застегнул. Стал внимательно всматриваться в нейтральную полосу и часовым приказал:

- Смотрите получше. Но с оружием аккуратно, без команды не применять. Понятно?
- Так точно, – Симахин со значением посмотрел на Николу.

Тут же, неожиданно для часовых, через бруствер переметнулся человек в белом маскхалате, и не успели они сообразить, как им на это реагировать, а подполковник уже крепко обнял его и шепотом, чтоб не слышали солдаты, спросил:

- Ну, как?
 - Нормально.
 - А там?
 - Похоже, порядок.
- И оба быстро ушли в блиндаж.
- Что я говорил?! – самодовольно сказал Симахин.
 - Оттуда человека ждал.
 - Я разве возражал? – пожал плечами Никола.

В немецком блиндаже несколько солдат и фельдфебель. Фельдфебель крупный, лицо широким овалом, а если в профиль смотреть, то в три прямые линии: одна наклонная линия – высокий, немного откинутый лоб, маленькая уступочка переносицы и вторая линия, более наклонная – нос, опять уступочка и третья, вертикальная – верхняя губа и тяжелый подбородок. От верхней трети этой вертикальной линии выдается свисающим полукружьем нижняя губа. И надменность, и скепсис в той губе, и убежденность в собственном превосходстве надо всеми.

Открывается дверь, солдат быстро, рукой за плечо, вдвигает в блиндаж мальчика, быстро закрывает за собой дверь, чтоб не расхотать без нужды тепло, и докладывает:

- Шел с русской стороны.
- Шпион? – вопрошает фельдфебель и грозно и недоверчиво смотрит на мальчика.

Мальчик снимает серую кроличью шапку, кланяется. Невысокий, светлые волосы острижены «под ноль», худенький, но не истощенный, как другие блокадные дети. Глаза голубовато-серые, спокойные, лицо худощавое, несколько суженное к подбородку. Ничего примечательного, мальчик как мальчик.

– Гутен морген, хювят херрат. Их бин нихт вакоилия!!¹ Здравствуйте, уважаемые господа. Я не шпион.

– Вебер! – позвал фельдфебель. – Переводи, что этот рыжий лопочет. Я их белиберду не понимаю.

– Говорит, родители пропали без вести, дом бомбой разрушило, ходит по родственникам, живет у них. А родственники у него и на той, и на этой стороне, – перевел Вебер.

– Почему болтается, не живет на одном месте?

– На одном месте, говорит, прокормить его не под силу, самим еды не хватает. А если недолго проживет, то не особенно в тягость.

– Большевикам жрать нечего – это хорошо. Спроси его, как он через русские окопы перешел?

– Говорит, сидел за большим камнем. А когда часовой пошел к землянке курить, перебрался через окоп.

– Да врет он все! – заключил фельдфебель. – Врет. Чтоб русский солдат ушел с поста курить – никогда не поверю. – Выдержал паузу для пущего эффекта. – Водку он жрать пошел,

¹ Смесь финских и немецких слов.

а не курить. Потому что все русские пьяницы. Бездельники и пьяницы! – И первый загоготал, но вдруг перешел от остроумия к злобе и прошипел. – Пьяные ленивые свиньи! Ничего, скоро мы вас научим работать и уважать порядок!

Так же резко переключился на мальчика:

– А на нейтральную полосу, через заграждения как прошел? Почему на минах не подорвался?

– По чьим-то свежим следам шел.

– Да? – Фельдфебель въедливо посмотрел на мальчика и дал команду: – Обыщите его!

Вытряхнули и даже вывернули наизнанку матерчатую сумку мальчика. Но кроме нескольких кусочков сухого черного хлеба да одного кусочка серого, домашней выпечки, пары картофелин, сваренных в мундире, тупого столового ножа, с наполовину обломанным лезвием в ножнах – в свернутой в трубочку бересте, да крупной соли в аптечном пузырьке ничего там не было.

– Ищите лучше, – настаивал фельдфебель.

Мальчика раздели и так же тщательно осмотрели одежду, прощупали даже швы и заплатки, не говоря уже о подкладке и карманах. Но и тут безрезультатно. Вернули одежду.

Очень кстати, замерз мальчишка меж камнями сидеть, да еще тут раздели, кожа у него, как у щипаного гусака, от холода пупырышками покрылась.

Но вида не показал, оделся спокойно и не торопясь.

В блиндаже человек, которого дожидался подполковник, молча кивнул и протянул руку лейтенанту. Снял маскхалат и ватник. Остался в грубошерстном свитере, ватных штанах и валенках. Вопросительно взглянул на подполковника.

– У себя переоденешься. А сейчас, – уже лейтенанту, – пока старший лейтенант по-быстрому чайком согреется, скажи пулеметчикам, пусть пальбу прекращают.

– Есть! – лейтенант согласно кивнул, козырнул и вышел.

Дождавшись, пока лейтенант отойдет от блиндажа, подполковник тихо, едва не шепотом, потребовал от старшего лейтенанта:

– Рассказывай.

– Прошло, как отрабатывали, – так же тихо ответил тот. – За десять минут до назначенного времени выдвинулись из землянки к валуну. После трех вспышек зажигалки перебрались через наш окоп, он отсиделся в гроте, а потом прошел в расположение немцев.

– Как там встретили?

– Можно сказать, стандартно: задержали и увели сначала в блиндаж на передовой, а потом сразу же в глубину расположения.

– Грубостей или чего-то необычного не было?

– Нет. При задержании, нет.

– Будем надеяться, что и потом будет все в порядке, участок здесь не особенно боевой. Конечно, через «тропу», где нет постов боевого охранения, было бы безопаснее. Но надо, обязательно надо, чтобы немцы поверили:

наши войска сосредотачиваются для удара в районе Восьмой ГЭС и Второго городка.

Помолчал, редко и ритмично постукивая ногтями, плоской их стороной, по столешнице.

– В сто, в тысячу раз легче было бы самому пойти, чем вот так... ребенка посылать. – Приподнял руку и несильно, но резко стукнул внутренней стороной кулака по столу. – И деваться некуда. Надо.

Успокаивая себя, прошелся по блиндажу туда-обратно и позвал:

– Мартянов!

В блиндаж вошел Никола-часовой.

– Сейчас, как только вернется лейтенант, уходим. После ухода приберешь здесь, на это тебе пять минут, и догоняй нас.

– Понятно.

– А пока иди на пост.

– Есть!

– И ты с чаем не расслаивайся, пей скорее, – нервно подогнал старшего лейтенанта.

– Угу, – согласился тот, и, не желая усугублять беспокойство начальства, подул на поверхность кипятка и, насколько позволяла температура, сократил время между глотками: подполковник вообще к каждому выводу разведчиков относился трепетно, а уж когда ребяташек выводили – будто целиком был сплетен из нервов. Тут его лучше не раздражать. Но, по-прежнему, давал каждому глотку, не торопясь, скатываясь в желудок и максимально прогревать организм.

Старший лейтенант допил чай, и они втроем, вместе с возвратившимся лейтенантом, отправились по ходам сообщения, от передовой в глубину расположения. Но штаб и иные службы обходили стороной, пока не вышли к сокрытой в лесочке возле шоссе раскрашенной белыми камуфляжными разводами эмке.

– Он еще нужен? – лейтенант указал на солдата, охранявшего легковушку.

– Нет. И ты, лейтенант, можешь идти отдыхать. Теперь мы сами управимся. Обеспечение пока не снимай. – Подполковник протянул ему руку. – Спасибо за помощь.

Подошел Мартянов.

– Порядок? – спросил подполковник.

– Так точно, порядок, – ответил Никола.

– Что говорят?

– Часовой, что было, то и говорит: своего человека с той стороны дожидались. А остальные ничего не видели.

– И как он считает, дождались?

– Считает, дождались.

– Наблюдательный. А болтать не будет?

– Лейтенант предупредил и его, – Мартянов не удержал улыбки, – и меня, чтоб о Владимире Семеновиче, о товарище старшем лейтенанте, – посмотрел со значением на человека в ватнике, – никому ни слова.

– Будет молчать – на следующее мероприятие опять возьмем. А вот тебя... Надо подумать.

– Почему – подумать?... – заволновался Мартянов.

– Потому что не кичись, боб не слаще гороха. Намокнешь – тоже лопнешь. Нечего над старшим по званию зубы скалить. Лейтенант правильно предупредил. И его, и тебя.

– Виноват!

– То-то же. А окурок, что я в стенке блиндажа оставил, он забрал или ты?

– Я. Он говорит: возьми себе, меня товарищ подполковник двумя целыми папиросами угостил.

– Так и сказал: товарищ?

– Нет, это я для вежливости. И чтоб по уставу было.

– Понятно. А о чем-нибудь расспрашивал?

– Нет, не расспрашивал. Вначале говорил: похоже, с той стороны кого-то ждем. А когда товарищ старший лейтенант вернулся, сказал: ну, что я говорил.

– А ты ему что ответил?

– Сказал, что я и не возражал.

– Понятно. А он не сказал, как определил, что человека ждем?

– Да он... это...

– Не мямли, как двоечник у доски.

– По Вашему поведению. Сказал, что Вы, товарищ подполковник, часто выходили из блиндажа будто бы покурить, а на самом деле, наверно, с той стороны человека ждете.

– Наблюдательный, – повторил подполковник. – Ну, хорошо, товарища старшего лейтенанта мы дождались. Больше нам здесь делать нечего. Прогревай, Коля, машину и поедем.

Мартьянов сел на водительское место. Подполковник отвел старшего лейтенанта в сторону.

– Значит, и Мартьянов ничего не заметил. Это хорошо, аккуратно сработали. – Мельком глянул на часы и долгим взглядом на линию фронта, даже туловищем подался в ту сторону. – Как он там? А?

– Будем надеяться, все хорошо...

– Будем. – Помолчал и тихонько проговорил: – Не к лицу мне, коммунисту, такое говорить, но иногда, особенно если ребят выводим, помолиться за них хочется. Был бы верующим, помолился бы... – Снова глянул на часы и распорядился: – Пройди к лейтенанту, скажи, пусть снимает обеспечение. И пошупай его аккуратно, что он думает о сегодняшнем мероприятии. И сразу обратно. Дел много, пора возвращаться, а путь не близкий. Да, еще один момент, Симахин вроде неплохой паренек, может пригодиться. Попроси лейтенанта от моего имени, пусть присмотрится к нему. Только не говори зачем.

Когда старший лейтенант вернулся, подполковник вопросительно посмотрел на него.

– Что лейтенант?

– Считает, что разведгруппа ушла в поиск. Но ни состава, ни задач, естественно, не знает.

– Это хорошо, – подполковник удовлетворенно кивнул.

– И к солдату присмотрится.

– Угу. Пусть присматривается. Поехали.

– Ахтунг!

В блиндаж вошел обер-лейтенант. Белокурый, высокий, стройный и даже элегантный, насколько можно быть элегантным на передовой. Его охрана, два автоматчика, в ладно пригнанной под стать командиру, форме, встала у двери, положив руки на шмайссеры.

Фельдфебель доложил. Офицер повернулся к мальчику. Длинный, тонкий, крючком нос несколько портил его, однако делал лицо запоминающимся.

– Raiva, herra upseeri!² – поздоровался мальчик.

– А-а, Mikko, – узнал его обер-лейтенант и даже улыбнулся, – huomenta, herra Metsapuro! Здравствуй, господин Лесной Ручей. Все течешь? Даже зимой? – Немец немного говорил по-фински.

– К родственникам хожу. Жить где-то надо.

– Как на той стороне? – перешел немец на более знакомый ему русский. По-русски он говорил с акцентом, но слов не коверкал.

– Голодно. Даже у тех, кто с огородом живет, с едой плохо. Власти оставили по 15 килограмм картошки на едока, а остальное приказали сдать в фонд обороны. Разве зиму с этими харчами переживешь? В городе совсем плохо, кошек и собак еще в прошлую зиму съели.

– Сдаваться когда собираются?

– Вроде бы совсем не собираются. Говорят, от голода, может, кто и уцелеет, а если сдастся, то немцы всех расстреляют.

– Это вранье, большевистская пропаганда. И ты, когда пойдешь снова туда, скажи, что немцы – народ культурный и гуманный, никого расстреливать не собираются. Конечно, если добровольно сдадутся.

² Здравствуйте, господин офицер (фин.).

– За такие разговоры они сами расстреливают. На месте. Без суда и следствия. По строгости законов военного времени. Везде, на стенах и на всех столбах, бумаги наклеены, а в них написано: за невыполнение приказов, за распространение панических и пораженческих слухов привлекать к ответственности по строгости законов военного времени.

– Понятно. Линию фронта как перешел?

Микко повторил то, что уже рассказал фельдфебелю.

– А к линии фронта как шел?

– И в Парголове был, и в Токсове. Потом в Черной Речке, а оттуда через Колтуши в эту сторону пошел.

– Постов много?

– Да.

– Документы часто проверяют?

– У всех. Но у меня не спрашивали – какие у меня документы. И потом, я у родных останавливался пожить, может, поэтому не трогали.

– Покажи на карте, где посты стоят.

– Не... На карте не могу. Карту я не понимаю.

– А о чем просил тебя посмотреть – посмотрел?

– Да. Там стволы какие-то.

– Что за стволы? Пушки? Гаубицы? Какой калибр?

– Не знаю. С дороги не разглядеть, а ближе не подойти, колючая проволока и часовой. Страшно, застрелит еще.

– Колючая проволока от дороги далеко?

– Близко. И лес вырублен. Все открыто. Не подойти. И часовой. Застрелит запросто.

– По пути что-нибудь интересное видел?

– Не... Я по лесу, по проселку шел. Что там увидишь? С большой дороги меня сразу прогнали. Когда от тетки Клавдии шел. Я хотел в Невскую Дубровку пройти. А там танки, тягачи с пушками, машины с солдатами. Вся дорога забита. Уходи, говорят, парнишка, а то под колеса или под гусеницы попадешь или еще куда. Я и ушел на проселок, а потом в Колтуши повернул.

– Где это было?

– Что было?

– Танки, машины, пушки... Где тебя с шоссе согнали?

– Не припомню точно, где-то уже за Марьиным. Я как раз из Черной Речки от тетки Клавдии, подкормился у нее и в Невскую Дубровку, к крестной моей, к тете Василисе, хотел пройти. Но с дороги прогнали, тогда в Колтуши, к тете Кате пошел. У тетки Клавдии сытно, но очень тесно. Под столом спал, больше негде.

– Фляшенхальс³...

– Что? – не понял Микко.

– Отчего тесно? Семья у тетки большая?

– Нет. Солдат много. Она им стирает, белье чинит. А они ей крупу, хлеб дают. А еще картошку и овощи разные. Иногда даже консервы.

– В каком направлении двигалась техника? Танки, машины – куда шли?

– Я не знаю, не спрашивал. Там спроси только, сразу куда следует отправят. По строгости законов военного времени.

– Но ты же видел: поперек твоей дороги они двигались, по пути с тобой или навстречу.

³ Бутылочное горло. Так немцы называли неширокий, 12–14-километровый, но сильно укрепленный и насыщенный военной техникой и солдатами Шлиссельбургско-Синявинский выступ своих войск южнее Ладожского озера.

– А-а, навстречу, – сообразил-таки Микко. И подтвердил: – Навстречу ехали. Я от тетки Клавдии шел, а они навстречу, из-за поворота.

– Значит, скорее всего, двигались в направлении Восьмой ГЭС или Второго городка?

– По той дороге можно доехать... Да. Но там другой берег и линия фронта. Может, туда поехали или свернули потом, не знаю.

– Много техники в колонне?

– Не знаю. Меня ж прогнали. Я стоял, ждал, ждал, когда проедут. А потом не дождался, пошел. Прошел немного, меня и прогнали. Легковушка затормозила, и командир из легковушки выпрыгнул и прогнал. Уходи, говорит, парнишка, а то под колеса попадешь или под гусеницы. Я и свернул на проселок.

– Стоял долго?

– Нет, только притормозил. Сказал, чтоб я уходил с большака, и дальше поехал.

– Не про то я, – рассердился на его бестолковость офицер. – Ты долго стоял, ждал, пока колонна пройдет?

– Не знаю... Наверно... Замерз даже.

– Значит, колонна большая была.

– Да. Не маленькая.

– А до Невской Дубровки так и не дошел?

– Дошел. Потом, после Колтушей.

– И как там, с дороги тебя не прогоняли, чтоб под колеса или под гусеницы не попал?

– Прогоняли.

– Те тоже навстречу из-за поворота?

– Нет, они прямо.

– А та дорога куда ведет?

– Не знаю точно, к Порогам вроде бы.

– Хорошо. А что за техника?

– Да всякая. И машины, и танки, и тягачи с пушками.

– Колонна большая? Больше чем та, которую раньше встретил?

– Не знаю даже, – пожал плечами.

– Ну, ладно.

Офицер, отозвав фельдфебеля, за спиной Микко приложил палец к губам и, приглушив голос, спросил по-немецки:

– Обыскивали?

Фельдфебель кивнул.

– Ну, и?

– Ничего. Если не считать вшей и грязи.

– Хорошо обыскали? – не поддержал его наигранно брезгливого тона офицер.

– Конечно. Полностью. И швы, и заплатки прощупали. В соответствии с Вашими инструкциями.

– Гут, – одобрил действия фельдфебеля обер-лейтенант. И снова обратился к Микко: – В Колтушах долго был?

– Нет, только переночевал. У тети Кати тоже тесно, а с едой хуже.

– Какие части там стоят?

– Не знаю, не спросишь...

– Танки, пушки на улицах есть?

– Есть. И танки, и пушки.

– Танков много?

– Много.

– А пушек?

– Не очень.
– Значит, танков больше?
– Да, больше.
– Хорошо, молодец, – похвалил мальчика. – А сейчас куда и к кому путь держишь?
– К тете Христине в Никитола. Подкормлюсь у нее немного.
– Подкормись, – одобрил его намерение обер-лейтенант. И попросил: – Расскажи солдатам, что ел русский мальчик, который сидел на снегу?
– Какой мальчик?
– Про которого ты рассказывал, что он сидел на снегу и ел что-то. Вспомнил?
– А-а, – догадался Микко, к чему клонит офицер. – Так это еще в прошлую зиму было.
– Не важно, в прошлую или в эту. Солдаты здесь недавно, еще не слышали, а им полезно такое знать. Рассказывай и подробно, – потребовал офицер.

– Шел я тогда из Куйвози в Лесколово. – Микко говорил, а лейтенант переводил. – Смотрю, на сугробе, возле дороги, парень сидит, постарше меня, и что-то ест. Вроде как лопата в руках у него, только короткая и толстая. Подошел ближе, смотрю: он на собаке сидит, ногу заднюю, от нее отрубленную, грызет. Собака вся белая, в инее. Наверно, всю ночь пролежала. Топором стружек на ноге наделает, отгрызает стружки и жует. Я как увидел топор, так перепугался... Ну, думаю, сейчас он меня топором зарубит... И меня съест. Сильно испугался. Хорошо на лыжах был. Не помню, как Лесколово проскочил. Опомился уже в Верхних Осельках.

Солдаты брезгливо рассмеялись, отплевываясь. Одного, невысокого круглолицего крепыша, чуть не стошнило.

– Вот тебе за усердие, – офицер подал Микко плитку шоколада. – В другой раз больше разглядишь, больше расскажешь – больше получишь. Хочешь много продуктов и много денег?

– Хочу.

– Тогда внимательно смотри, что и как у русских, хорошенько запоминай и мне рассказывай. Тогда дам тебе много продуктов и много денег.

– Память у меня не очень хорошая. От голода. И часовые там везде. Чуть что, стреляют без предупреждения, по строгости законов военного времени.

– Ну, в тебя, в ребенка, вряд ли станут стрелять, – не поддержал его боязливости офицер. И фельдфебелю: – Отведи его, пусть покормят и с собой что-нибудь дадут. А то помрет союзник с голоду, после изысканных русских деликатесов из мороженой собачатины.

И под хохот подчиненных вышел из блиндажа.

Фельдфебель продовольственный вопрос разрешил по-своему.

– На, руди, – кинул на стол пачку галет. – Ешь, но больше не рассказывай такого после завтрака.

Микко поблагодарил и аккуратно уложил в торбу.

– Отведи его на кухню, если есть чем, пусть покормят и хлеба с собой дадут, – это фельдфебель уже Веберу. – Поест, и сразу же бегом отсюда, не место ему здесь. И скажи: обер-лейтенант приказал выдать мальчику сухой паек. Что выдадут, принесешь сюда.

– Яволь.

На «руди-рыжего» Микко отреагировал спокойно, хотя и был русым: что с этих немцев возьмешь, для них всякий финн, будь то белокурый карел или черноголовый остяк, все равно «рыжий».

Микко идет по широко расчищенному и хорошо укатанному шоссе. Немцы и финны за дорогами следят, тут иного не скажешь. У дуплистой осины возле дороги останавливается, справляет малую нужду. И одновременно с этим действием запускает руку в дупло, выни-

мает оттуда ольховую веточку и два прутика, березовый и осиновый. На ольховой веточке три побега.

«Лыжи в тайнике номер три». Повертел березовый и осиновый прутики, расшифровал и их значение: «Углубиться в тыл противника и переместиться в расположение финских воинских частей. До выхода в расположение финнов в населенных пунктах останавливаться только на ночлег. В первых двух по ходу движения населенных пунктах не останавливаться даже на краткий отдых. В пути вести маршрутную разведку».

Застегнул штаны и пальто и, используя естественные при этом движения и боковое зрение, осмотрелся. Никого. Достал из кармана пальто еловую шишку, сломал ее пополам и верхнюю часть опустил в дупло: «У меня все в порядке». Еще раз осмотрелся. Все спокойно.

Вышел на дорогу.

* * *

Последние дни предблокадного Ленинграда. Сушь, жара. Множество народа работает на оборонительных рубежах по окраинам города. И сам город готовится к уличным боям и потому больше похож на военный лагерь. Оконные стекла перечеркнуты белым крест-накрест, заклеены полосками бумаги. Иные, однако же, – видимо, хозяйки и в таком военном деле не захотели отстраниться от красоты и уюта, – заклеены не простенькими полосками, а широкими лентами с прорезанными в них узорами. Были и целые картины с танками, самолетами, бомбами, пушками, но те вырезаны угловато и не очень умело – детские. Все деревянное – сараи, амбары, заборы – разбирается и увозится к линии обороны, где используется на перекрытия блиндажей, укрепление траншей и окопов. А не пригодное для этих целей – на дрова.

На улицах траншеи, надолбы – бетонные пирамиды, рельсовые «ежи» и сваренные накрест трамвайные колесные пары. Баррикады, способные сдерживать не только пехоту, но и танки. На площадях и в угловых домах на перекрестках в полуподвалы и в первые этажи встроены огневые точки. Они мощно укреплены и способны сохранить целостность и боеспособность даже при полном обрушении всех верхних этажей. Подворотни также переоборудованы в доты. Витрины магазинов забраны щитами или заложены мешками с песком.

Точки ПВО на набережных, на площадях и на Марсовом поле.

Разрушенные дома. На стенах уцелевших – правила поведения и обязанности населения как во время воздушных налетов и артобстрелов, так и в иных ситуациях. Приказы и распоряжения военных и городских властей, как правило, заканчивались пугающим Мишу, но уже привычным для ленинградцев, обещанием: виновные будут привлекаться к ответственности по законам военного времени. Щели для укрытия. Много военных. По улицам танки, машины с людьми и техникой, подводы с бревнами, иным строительным материалом, дровами и колонны солдат. В небе аэростаты воздушного заграждения. У продовольственных магазинов жмутся к стенам домов длинные, унылые, неуверенные в успехе, но обреченно стоящие очереди: дети, калеки, старики и старухи, немного женщин и совсем нет в них мужчин.

То же на проспекте Двадцать Пятого Октября, который кто по привычке, кто для краткости, кто и по иным причинам звали по-старому Невским. Несколько бабулек у Думы под репродуктором дожидаются сводок с фронта. Елисеевский, знаменитый гастроном № 1, прежде барственно сверкавший зеркальными витринами и кичливо демонстрировавший изобилие продуктов, ныне мрачен, если не сказать нищ и убог.

Впрочем, перед войной не только Елисеевский мог похвастаться изобилием. Предвоенный ассортимент в продовольственных магазинах был достаточно насыщенным, казался даже богатым, по сравнению со скудностью предыдущих лет.

Разбитые взрывной волной витрины Елисеевского снизу доверху забраны деревянными щитами. По верху щитов тянется транспарант: «ЗАЩИТИМ НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ЛЕНИНГРАД». Под транспарантом приказы, воззвания, обращения, извещения военных и городских властей о введении осадного положения и приказ, в этой связи, запретить пребывание на улицах с десяти вечера до пяти утра. Большой квадратный стенд с фронтовыми сводками и перед ним два-три человека читающих. Да еще немногие останавливаются прочитать строки казахского поэта-акына Джамбула:

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи...

Эти стихи знали наизусть и повторяли про себя почти все жители города:

К вам в стальную ломится дверь,
Словно вечность проголодав,
Обезумевший от потерь.
Многоглавый жадный удав...
Сдохнет он у ваших застав
Без зубов, без чешуи.

Будет в корчах шипеть змея...
Будут снова петь соловьи.
Будет вольной наша семья.
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя...

И совсем свежее обращение, принятое на недавнем общегородском митинге женщин-ленинградок:

Мужья наши, братья, сыновья!

Помните – мы всегда вместе с вами. Не сломить фашизму нашей твердости, не испугать нас бомбами, не ослабить лишениями. Мы говорим вам сегодня, родные: «Не опозорьте нас! Пусть наши дети не услышат страшного укора: твой отец был трусом!»

Лучше быть вдовами героев, чем женами трусов.

Женщины Ленинграда! Сестры наши! Ключи города, наша судьба – в наших руках... Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Никакие лишения не сломят нас... Скорее Нева потечет вспять, нежели Ленинград будет фашистским!

Под обращением подписи знаменитых жительниц Ленинграда: профессора Мануйловой, поэтесс Анны Ахматовой и Веры Инбер, артисток Мичуриной-Самойловой и Тамары Макаровой, домохозяйки Ивановой, первой женщины, награжденной за тушение вражеских «зажигалок».

Мише их имена ничего не говорили, стихи он читал лишь те, что задавали по школьной программе, лица актеров запоминал по именам и фамилиям сыгранных ими героев. Но слова обращения отнес и к себе. Ему уже одиннадцать лет, и он – мужчина. Оглядел прохожих. И теперь увидел в них не только усталость и замкнутость, но еще волю, непреклонность, решимость и уверенность. Уверенность в том, что и эту беду наша страна переживет.

Затолкал в брюки выбившуюся рубашку, поправил матерчатую сумку с небогатым питанием, попробовал глянуть на себя со стороны, похож ли и он на других защитников

Ленинграда. Вышло – похож. И перенимая у встречных твердую, собранную походку, двинулся дальше.

В парках, скверах и других более или менее подходящих местах группы людей в военном и в штатском, с оружием и без него проходят науку обороны. Учатся штыковому бою и стрельбе. Но в городе не постреляешь, и потому, прицелившись в лист фанеры, доску или кирпич, «всухую» щелкают бойками по пустому патроннику. Однако командиры и при такой стрельбе видят ошибки и раздраженно, видимо, от усталости повторять одно и то же, выговаривают: «Да не дергайте вы так! Сколько можно говорить! На спуск надо нажимать плавно, одним равномерным движением. От дерганья ствол отклоняется вправо. Будете в Германию целиться, а пули на Северный полюс полетят!» Учатся перевязывать раненых, надевать противогазы и себе, и тем же раненым.

В саду МОПРа⁴ возле недавно настроенных для тренировок деревянных домиков идут учения по тушению «зажигалок». Пожарные в брезентовых костюмах перед строем вытянувшихся в одну шеренгу стариков, женщин и школьников воспламеняют зажигательные бомбы, длинными, похожими на кузнечные, клещами хватают их, бросают в бочки с водой или засыпают песком – гаснут там смиренно и безопасно для города, для жителей его и имущества его. За ними те же операции повторяют, выходя из шеренги, обучаемые. Особенно стараются мальчишки-школьники. И, наверное, от усердия у них получается ловчее и быстрее, чем у остальных.

Там же, на аллее, тянущейся вдоль улицы Третьего Июля⁵, разновозрастная и пестро одетая, но поголовно подпоясанная ремнями группа человек в тридцать учится строевому шагу. Невысокий командир ее с сержантскими кубарями в петлицах выгоревшей чуть не добела гимнастерки, единственный человек в военной форме, по-южному гхэкая и нажимая на «о», кричит:

– Взво-од стой! Нале-ву! – И дальше одной фразой, без пауз. – Рота, равнясь! Рота, смирно! Боец Голубев выти из строя! Тры нарада на работу! Стать у строй!

Боец Голубев не только не вышел из строя, но и шелохнуться не успел, как командирский голос повел внимавших и подчиненных ему людей дальше:

– Баталь-ен напра-ву! С места... С песнь-ой... Шаго-ом... Арш!

Военные люди в штатском пошли и запели еще незнакомую Мише песню:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой...

А Миша, так и не поняв, чем провинился боец Голубев, и даже не увидев, кто он, забыл о нем и пошел дальше, поеживаясь от слов песни:

Пусть ярость благородная
Вскипает как волна,
Идет война народная,
Священная война.

Лица у всех встречных – и у военных, и у штатских – худые, серые, усталые; сжатые губы, озабоченные глаза, взгляд их сосредоточен и направлен внутрь, вглубь себя. Разговоры, если

⁴ Михайловский сад.

⁵ Садовая улица.

случаются, немногословны. В основном, о войне. И усталый, еще не ведающий своей судьбы Миша, одолевая усталость, идет по не менее усталому и так же не ведающему предстоящей блокадной судьбы Ленинграду.

Возле домов, в не занятых под огневые точки подворотнях, стоят девушки со звездочками на беретах, с красными повязками на рукавах и с противогазными сумками через плечо. И забыв о своих объектах, смотрят на южную половину неба: оттуда резкий, бьющий по ушам грохот зенитной пальбы, там, умело лавируя между аэростатами и удачно уклоняясь от зенитных хлопков, юлит немецкий истребитель. Прохожие, кому позволяет время, останавливаются посмотреть, чем закончится фокусничанье немца. И кто остановившись, кто на ходу, даже женщины, посылают ему злые и иной раз очень непечатные пожелания.

Уменье немца подвело или забыл он, что нельзя судьбу искушать, и за то удача от него отвернулась – зацепился самолет крылом за трос аэростата, тут же и залп зенитки подоспел. И под крики ленинградцев: «Ура!» – развалился самолет на части, и летчик, отделившись от обломков, полетел вниз вначале комком, а затем завертело его, закрутило, распластался, раскинул руки и ноги во все стороны. Может быть, ранен был или контужен, а может быть, и мертв уже, но, так и не раскрыв парашюта, пропал за крышами домов.

– Отлетался, сволочь, обрезали тебе крылья! – подвел итог пожилой мужчина с большими седыми усами. – Дайте только время, не только крылья пообрезаем, но и всем вам головы оторвем. – Поднял чуть не до темени до того низко надвинутый козырек кепки и зашагал, твердо ставя ноги на панель.

Приободрившись от увиденного, Миша прибавил шаг.

Вот и улица. Метров триста по ней – и его переулок. На углу раньше стояла тележка мороженщицы, и родители, чаще папа, покупали ему мороженое. Мама тоже была не прочь побаловать сына, но боялась, не простудил бы горло ребенок, и поэтому покупала конфеты. Этой весной стали продавать новое мороженое, Мише особенно понравилось в вафельных стаканчиках и в бисквитах. Мороженое он любил и, если была возможность, ел не сразу, ждал, когда оно немножко подтает и пропитает стаканчик. Только тогда получалась самая настоящая вкуснятина.

Перед войной его родители, как впрочем, и все ленинградцы, часто ходили в кино, в театры, в гости и приглашали друзей к себе. В Европе шла война и, естественно, никакая вечеринка не обходилась без разговоров о «международном положении». Австрия, аншлюс, Чемберлен, Деладье, Чехословакия, предательство – нередкие слова во время застолий. Войну предчувствовали, внутренне к ней готовились. Нередко вспыхивали споры. Молодые, преимущественно, военные пророчили «коротенькую войнушку малой кровью и на чужой территории». Люди пожилые, особенно хватившие «империалистической», с сомнением покачивали головами: «Если, не дай Бог, с немцами война, то с ними так просто не справишься, германец воевать умеет». Комсомольцы героически пели: «Если завтра война, если завтра в поход...»

И все надеялись – обойдется.

Потому что не оставалось ничего, кроме надежды, всякий, внимательно присматривавшийся к обстановке, видел – страна к масштабной и затяжной войне не готова. И потому надежда заменяла уверенность.

Надеялись, что Советское правительство удержит страну в стороне от войны, изыщет такую возможность. Хотели верить этому и верили. Хотя международная обстановка – оккупация Дании, вторжение в Бельгию, Голландию, Норвегию, Грецию, Югославию, падение Парижа, бомбардировка Англии, концентрация немецких войск вблизи советских границ и размещение их в Финляндии – указывали совсем на иное.

Все быстрее и быстрее, чем ближе к дому, тем быстрее идет Миша. В свой переулок уже вбежал. И остановился: вместо дома – груда кирпича, штукатурки, искореженного металла.

В сторонке – сложенные штабели: целые бревна отдельно, доски отдельно, ломаные бревна в кучу, на дрова. Даже щепок и дранки небольшая копешка набрана.

Направился к развалинам, но его остановила женщина с повязкой на рукаве и противогазом через плечо.

– Эй, малый! Тебе что здесь нужно?

– Это мой дом. Здесь мы жили. Здесь мои родители...

– А ты чей будешь? Откуда взялся?

– Метсяпуго. От бабушки пришел.

– Мицапугов?.. Нет, про Мицапуговых не помню, погибли или живы. Народу много погибло. Бомба все перекрытия пробила и взорвалась в подвале, в бомбоубежище. Считаю, никто не уцелел. Ты сходи к участковому, он сейчас в домоуправлении размещается. Мало ли что могло случиться, может, твоих, на счастье, в тот раз дома не было. Да поторопись, он долго на месте не сидит.

– Метсяпуго... Метсяпуго... – участковый посмотрел в журнал. – Ага, нашел. Метсяпуго Вейно Яковлевич... Метсяпуго Анна Матвеевна... Погибли. Тела отправлены на общее захоронение... Так вот, Миша, дела невеселые. Война, одним словом.

И, не давая мальчику времени опомниться и заплакать:

– Бабушка твоя где живет? Надо вас как-то определять. Сейчас будем думать, как тебя с бабушкой на Большую землю отправить.

Участковый наклонился к железному ящику, отпер его, нашел нужный бланк, но когда выпрямился, увидел по другую сторону стола пустой стул.

А Миша бежал по улице, не видя от слез ничего.

Забился в расщелину у какого-то полуразрушенного дома и заплакал, не сдерживая ни слез, ни рыданий. Выплакавши все силы, затих, забылся и так просидел, пока не склонилось солнце к крышам домов, и не потянуло прохладой.

Выбрался из расщелины, подошел к обломанной водопроводной трубе, из которой тоненькой витой струйкой сочилась вода. Снял куртку, сбил с нее пыль, отряхнул брюки. Умылся, тщательно пригладил влажными ладонями волосы, повесил матерчатую сумку через плечо и выбрался на улицу – он уже твердо знал, куда ему идти.

Воспользовавшись многолюдьем, проскользнул в военкомат. И быстро, прячась за спинами взрослых в штатском, мимо дежурного. Отыскал кабинет военкома.

– Отправьте меня на войну! – безо всяких там «разрешите войти», «здравия желаю» и прочих церемоний потребовал Миша. – Сегодня же!

Замороженный, замотанный военком, с отсутствующим взглядом безрезультатно крутивший ручку полевого телефона, не сразу вник в ситуацию и спокойно отозвался:

– Поди домой да скажи мамке, чтоб всыпала хорошенько, – похоже, к подобным ходакам он уже давно привык. Но тут же, словно только что осознал случившееся, возмутился: – А ты как сюда попал? Кто тебя пропустил? – И осерчал: – Дежурный! – Нажал кнопку звонка: – Чернинзон! Капитан Чернинзон! – И пообещал: – Ну, ты у меня за все получишь. Сам на пост у дверей станешь, раз часовые ворон считают.

– Нету мамы. Погибла она. И отец погиб. Я пришел, а в дом бомба попала, и они погибли, – настаивал на своем Миша. – Мне некуда деваться, мне на фронт надо.

– Откуда пришел? Чернинзон! – опять безрезультатно нажал кнопку звонка.

– От бабушки.

– Вот и возвращайся к бабушке. И документы на эвакуацию оформляйте быстрее, пока есть возможность эвакуироваться.

– К бабушке мне не пройти. Бабушка в Ляскеля.

– Где-е?... – не поверил военком.

– В Ляскеля. В Карелии. Я только сегодня оттуда пришел.

– Откуда? – другой военный, просматривавший папки с документами, даже привстал из-за стола. Это был уже знакомый нам по передовой подполковник, правда, сейчас еще капитан, и эмблемы у него другие, связиста.

– Из Ляскеля, – в третий раз сказал Миша.

– Василийч, – не по уставу попросил капитан полковника-военкома, – где я могу с этим Афанасием Никитиным поговорить? Чтобы мы никому не мешали?

– Возьми ключ от третьего кабинета. И беседуй сколько нужно.

– Спасибо. И голодный, наверно, мальчишка... – намекнул капитан. – Заимообразно.

Полковник достал из стола открытую банку тушенки, в которой оставалось не меньше половины содержимого, четвертинку серого хлеба и проворчал:

– Ты у меня «заимообразно» уже целый ящик набрал. А отдачи не видно.

– Будет отдача, – заверил капитан. – Будет.

Вручил тушенку и хлеб мальчику и повел за собой.

– Тебя как зовут?

– Михаил.

– Ты, Миша, ешь, не стесняйся. – Капитан пододвинул банку и нарезал хлеб. А когда мальчишка поел, поинтересовался: – Карту читать умеешь?

Миша неуверенно дернул плечом.

– В школе проходили...

– Тогда давай вместе разбираться. Вот эти квадратики – Ленинград. Это Финский залив, тут Ладожское озеро, а вот этот кружок – Ляскеля. Теперь давай вспоминать, как ты шел...

– Из Ляскеля в Хелюля, потом Сортавала... Лахденпохья...

– Значит, вдоль железной дороги.

– Нет, не всегда. До Хелюля по заливу шел. Вот здесь, – провел пальцем по карте. – Через Рауталахти. От Сортавалы опять вдоль озера, видите, так короче, через Хаапалампи и Мийнала. К родственникам еще заходил на хутора. Если по пути, то вдоль железки шел, а нет – в сторону уходил. Чтобы короче было. Или если родные там. Поживу у родных немного, отдохну, поем. А пойду дальше, что-нибудь с собой дам.

– У тебя там много родни?

– Да. Считай все Метсяпуру и в Карелии, и в Финляндии наши родственники. И Олкинен, и Раутанен – тоже наши родственники. И в Лапландии тоже есть родные, но я их никогда не видел. Вот, – Миша положил на стол бумагу, список родственников и их местожительство. – Это мне бабушка написала, когда я от нее в Ленинград пошел.

Капитан взял листок и, как отметил Миша, быстро, одним взглядом сверху вниз просмотрел его.

– Как же она не побоялась тебя одного отпустить?

– Знала, что все равно уйду.

– Хм... – Капитан взглянул на мальчика повнимательнее. – Финский язык хорошо знаешь?

– Так же, как русский. Отец со мной дома часто по-фински разговаривал.

– А немецкий?

– Некоторые слова. Можно сказать, не знаю.

– Через линию фронта как прошел?

– Не знаю. Шел... То немцы, то финские части. А потом из леса вышел – уже наши.

– На карте можешь показать?

Миша с полминутки посмотрел на карту и провел ногтем большого пальца:

– Вот здесь.

– Так, хорошо. Теперь давай посмотрим, где финские части видел, где немецкие.

– Немцев я почти не видел, только вначале. А потом я сюда пошел, на Карельский перешеек. А здесь все финны.

– С финнами, я имею в виду солдат, офицеров, разговаривал?

– Конечно. Подходил, когда у них обед или ужин. И меня кормили. Расспрашивали, конечно, кто я да что. А потом кормили.

– А еще что говорили?

– Говорили: не иди к русским, а то русский тебя пук-пук, застрелит.

– А о своих намерениях, далеко ли они идти собираются, не говорили?

– Так чтобы конкретно... Я же не спрашивал.

– Ну, а из разговоров что-то, может, запомнил?

– Да так, неопределенно... не от них зависит. Говорят, мы солдаты, куда прикажут, туда и пойдем.

– А их настроение? Сами они что думают?

– Сами говорят: до старой границы дошли, свою землю вернули, зачем нам для немцев стараться.

– Значит, настроение такое: дальше старой финской границы не идти.

– Не у всех, правда...

– Но из тех, с кем ты разговаривал, у большинства или таких меньше?

– Да. У большинства. Многие не хотят дальше идти. Свою землю, говорят, вернули, а русская земля все равно немцам достанется.

– Хорошо. Спасибо. А на этой стороне у тебя кто из родных остался?

– Я все равно на фронт уйду!

– Не к тому я разговор веду. У меня другой вопрос... Мог бы ты, не сейчас, а когда отдохнешь, силы восстановишь, обратно к бабушке сходить?

– Зачем?

– Бабушку навестишь, других родственников на хуторах. А по пути, если согласишься, конечно, кое-какие наши просьбы выполнишь.

– Какие? – не понял еще Миша.

– Посмотришь что, где и как, какие части, какое у них вооружение. Какое настроение у солдат и офицеров. И нам сообщишь.

– В разведку! Ух ты! А сообщать как? По рации? И оружие дадите?! Какое?

– Тише ты, разведчик. Не ори. Двери тонкие, а за дверями народу полно.

– Ой! – Миша оглянулся на дверь, втянул голову в плечи и прикрыл рот ладошкой.

– Здесь есть у кого остановиться?

– Да. В Парголово есть родные и в Дибунах знакомые. И в Токсове, и в самом городе. И еще...

– Вот и хорошо. Поживи у кого-нибудь из них денька три-четыре. Отдохни, обдумай хорошенько: дело это непростое и нелегкое и, может быть, даже опасное. Если не передумаешь, вот тебе телефон дежурного. Ну-ка, назови мужское имя, которое тебе первым на ум придет.

– Костя... Сосед у меня был... Дружили мы с ним. Теперь нет его.

– А что с ним стало?

– Хулиганы... ножом... в прошлом году. Пошел Алку, невесту свою, провожать, а они привязались: сначала – закурить дай, потом – денег. Он за невесту испугался. Беги, говорит, а сам их сдерживать стал, чтоб они за ней не погнались. Драка завязалась, он бы их побил, у него первый разряд по боксу, да они его несколько раз ножом... Ровно через месяц, как из армии пришел, день в день.

– Их-то хоть поймали?

– Сразу же. Алка ведь милицию звать побежала.

– Понятно. Значит так, позвонишь дежурному и скажешь, что ты Костя, племянник Валерия Борисовича. Валерий Борисович – это я. И дежурный тебе объяснит, как со мной связаться. Понятно?

– Конечно.

– И еще раз прошу: подумай хорошенько. Если не согласишься – я все пойму правильно. Лучше отказаться сразу, чем потом завалить дело. Но в любом случае – о нашем разговоре никому ни слова.

* * *

– На лыжах бежать и бойчее, и веселее.

«Так. Подобьем бабки. За линию фронта вывелся нормально. Немцы в первом блиндаже, на передовой, практически не задерживали, сразу отвели в глубину. Во втором блиндаже обыскали, убедились, что ничего нет – тоже хорошо. Обер-лейтенант... Третий раз уже встретились, а ни имени, ни фамилии не знаю. Валерий Борисович знает, но не сказал: начнут допытываться, откуда знаешь, что тогда говорить будешь? Только предупредил, что он из разведотдела 1Ц и что хорошо разбирается в своем деле, с ним надо быть осторожным. А вот интересно, обер случайно в блиндаж зашел, или вызвали? Какая-то система оповещения существует? Ведь при мне из блиндажа никто не уходил, и звонили только один раз. Вроде бы интересовались, когда будет обед, или что будет на обед. Плохо, мало слов немецких знаю... На самом деле интересовались обедом, или это условная фраза? Впрочем, если по вызову пришел, то могли сообщить даже из окопа. Тогда почему пришел разведчик? Хотя... хотя отделы 1Ц в прифронтовой полосе и контрразведкой занимаются. Раз так, то концы сходятся. И обер отпустил, значит, подозрения у него насчет меня не было.

И дезу⁶, похоже, проглотил про колонну с машинами, артиллерией и танками. Колонна действительно была, и Валерий Борисович велел обязательно рассказать про нее немцам. И про танки в Колтушах. Значит, все эти передвижения – какая-то широкомасштабная деза. Какая, ему неизвестно, но танки и другая бронетехника всегда концентрируются там, где готовится наступление, это известно любому разведчику. Но... но если об этой концентрации организуют утечку информации, ставят в известность врага, то... то и глупый догадается – не здесь будут наступать. А может быть, и вовсе наши наступать не собираются, дергают фашистов, да схемы и способы перегруппировки их войск изучают или отвлекают немецкие войска на себя, оттягивают с других, жарких для нас, направлений или иные какие задачи решают.

Тут много всякого может быть. Это уже не его ума забота, а чужой огород.

А грамотно слил оберу информацию: ничего, мол, не видел, колонна с танками и машинами всю видимость загордила. – Улыбнулся. – И про легковушку: недолго стояла, только притормозила... – Улыбка как пришла, так и улетела. – «Не кичись, боб, не лучше гороха, – любит повторять Валерий Борисович, – намокнешь – тоже лопнешь». Немцы ни в разведке, ни в контрразведке дураков не держат. Не переборщил ли, лопушком прикидываясь? Может быть, они решили пока не трогать, а за мной наружку установить? – По телу от коленок к макушке, лихорадя кожу, быстрая волна из тысяч мурашек пробежала. Микко замедлил бег, без резких движений, боковым зрением огляделся. Никого. Отлегло. – Зачем? Выявить связи? Нет, не похоже. Если б подозрение было, обер так быстро не отпустил, попытался бы подольше поговорить, на противоречиях поймать или на испуг взять. А связи мои с родственниками они и так давно знают. Но расспрашивал и покормить велел, и с собой дать. Бдительность усыплял? А зачем, если с ходу мог взять меня в оборот.

⁶ Дезинформацию.

Похоже, тут другое... Видно, чувствуют шевеление в наших войсках, а достоверных фактов мало, разобраться, в чем дело, не могут. Вот и ловят каждое слово с той стороны. Значит, схема была такая: из окопа или из первого блиндажа сообщили, а представитель из отдела 1Ц пришел, чтоб сразу два дела сделать: меня проверить и информацию, какую удастся, снять. Так что, пока... тьфу, тьфу, тьфу... Похоже, все идет удачно. – И не удержался, кольнул обер: – Посты ему на карте покажи... А с какой целью про карту спрашиваешь? Меня проверяешь? Или самым узнать кишка тонка?»

Опять улыбнулся, вспомнил, как в прошлом году осенью, когда Владимир Семенович велел ему аккуратно передать немцам информацию о том, что с берега Невы, от Невской Дубровки ушла понтонная часть, он, вообразив невесть что, сказал об этом Валерию Борисовичу. Валерий Борисович подтвердил, что действительно оттуда убыл инженерный батальон, сведения об этом обязательно нужно передать немцам и желательно добавить, что, по разговорам солдат, направляются они в сторону Усть-Тосно. Неточно, точно ему знать неоткуда, но вроде бы туда.

Миша потом глаза стыдился на Владимира Семеновича поднять, неловко было за свое подозрение.

* * *

А в Невской Дубровке у него крестная, тетя Василиса живет.

Одно лето, когда мамина мама, баба Акси́нья или кратко Бабакси́нья, к которой Мишу всегда отправляли на лето, занемогла, Миша остаток каникул доживал в Невской Дубровке у крестной Василисы и ее мужа дяди Макара, шестым ребенком.

Крестная прихрамывала, еще совсем молоденькой девчонкой упала с лошади и что-то в ногу повредила. Первое время ступить на ногу не могла, свозили ее к деревенскому костоправу, костоправ ногу на место поставил, и она пошла, но хромота осталась.

Когда дубровские пчеловоды начали качать мед, крестная напекла пышных шанежек, часть их уложила в тарелку, перевязала платком, и пошли они к дяде Григорию и тете Лукерье.

Дядя Григорий и крестная сели покалякать о житье-бытье, о прошедшем сенокосе, о видах на урожай картошки и иной огородины, а тетя Луша, жена дяди Григория, не покидая, впрочем, совместного с мужем и подругой разговора, налила полную миску, чуть не до краев, светло-желтого, тягучего, янтарем отливающего на солнце, ароматного и уже на один только взгляд вкусного меда. У Миши слюны полон рот набежал, жидкий мед редко ему приходилось кушать, а он его очень любил. И поставила другую миску, с нарезанными на прямоугольники сотами, налила большую кружку молока и рядом крынку оставила: мало будет, наливай сам, сколько хочешь. Это ж какое лакомство!

Дядя Григорий ласково посмотрел на растерявшегося перед таким богатством Мишу, погладил по голове и певучим баритоном подбодрил:

– Кушай, сынку, кушай.

Крестная развязала узлы, высвободила шаньги и подвинула тарелку Мише.

– Кушай, Мишенька, у дяди Гриши хороший медок.

– Бог дал, мэд в этом году есть, – согласился дядя Григорий.

Однако через некоторое время она с тревогой стала посматривать на крестника.

– Мишенька, ты много-то не ешь...

– Та нэхай. Разнотравье дюже полезный для здоровья мэд, в нем вреда нэма. Кушай, дитятко, кушай, – вступился дядя Григорий за мальчика.

– Не переел бы, а то плохо станет, – объяснила свое волнение крестная.

– Тай ти шо, Васылина... Дытына бильш чим трэба, николи нэ зьист.

Но либо дядя Григорий был слишком большим оптимистом по части Мишиного аппетита, либо Миша чересчур усердным едоком. Плохо ему не стало, однако мимо принесенного от дяди Григория трехлитрового бидона меда потом целую неделю ходил с полным равнодушием, а в первый день даже отворачивался, особенно, когда «макарята», так звала крестная пятерых своих чадушек, усердно лопотали ложками в миске с медом да подначивали младшую Полинку, воображавшую за столом в новой бежевой майке с узкими лямками из черных ленточек:

- Полин, ты мед-то на шаньгу намазывай.
- Ага, я намазываю, – рдела Полина и от меда, и от заботы старших братьев.
- Ты намазывай, Полина, намазывай.
- Да намазываю я, намазываю.
- Нет, Полина, ты накладываешь. А медок-то нужно намазывать.
- А ну, вас, за собой следите. Отстаньте, – и продолжала по-своему.

Братья на тот случай отстали, но после, стоило Полине в чем-то оплошать, кто-нибудь из «макарят» тотчас объявлял ей разницу между обильным вкушением меда и серьезной работой.

- Да-а, Полина. Это тебе не мед на шаньгу накладывать.

Сейчас на месте дома дяди Григория и тети Луши угли да обгоревшие деревяшки и, когда был там Миша, пахло не медом, а залитым костром, мокрыми головешками да сырой золой. Разбомбили фашисты проклятые дом дяди Григория. И пасека тоже сгорела.

- Ну, падлы, будет вам! – пообещал Микко фашистам.

У крестной хозяйство сохранилось. И дом, и огород, и корова. Хлеба, как всем, не доставало, но за счет усадьбы держались, голодные не сидели. По весне на поля ходили, вытаявшую картошку собирали и делали из нее «тырники». Картошку мыли, клали под донце, а на донце камни, отжимали мерзлотную влагу, сероватую и пузырчатую. Стекшую жидкость отдавали корове, отжатую картошку толкли и пекли лепешки. А если еще и посолить удавалось, то вполне съедобно было.

Хотя жили с крестной двое младших, Сергей и Полина, хозяйство она вела практически одна. Сергей этой весной закончил ремесленное училище и работал токарем на заводе «Арсенал». Забрал из бани, к ворчливому недовольству матери, короткую и широкую скамейку, на которой корыто для стирки белья хорошо помещалось и высота удобная, спину не ломала, и увез на завод – ему нужнее, росту до станка не хватает. А поселился на жительство в заводском общежитии.

Разумеется, когда приезжал в Дубровку, матери помогал. Но не часты были те посещения, работы много, иной раз сутками из цеха не уходил. Прикорнет, где удастся, под верстаком или на ящиках, поспит несколько часов и снова к станку. Нередко мать, не дождавшись сына, сама ехала в Ленинград к проходной, везла ему домашний доппак.

Муж и три других сына воевали. Отец и два старших на разных фронтах, а шестнадцатилетний Василий под Ленинградом, в ополчении.

Самая младшая в семье и единственная дочь у родителей Полина, ровесница Миши, работала на торфоразработках, укладывала торфяные брикеты на транспортер. Уходила каждое утро и возвращалась к вечеру, чуть живая от усталости. Так что дома от нее помощи было не особо много. Но одно то хорошо, что хлеб какой-никакой в дом она приносила.

* * *

Быстро проскочил небольшую деревеньку.

«Не останавливаться... Не останавливаться так не останавливаться. Кто их знает, почему. Может быть, для меня опасно, может быть, к мероприятию какому готовятся, не хотят, чтобы

я немцев насторожил, а может быть... Может быть, и без меня там наши глаза и уши есть. Да мало ли, что может быть, не до чужих забот, со своими бы справиться».

За деревней...

За деревней то же место, но не зима, а лето. Стайка ребят и растворившийся среди них Микко спешит по своим ребячьим делам. Навстречу немцы-фельджандармы катят на велосипедах. Останавливают ребят, обыскивают. У одного находят клочок чистой бумаги и огрызок карандаша.

– Шпион? – кричит немец.

– Нет, – отвечает тот по-русски.

– Русский шпион, – уже утверждает жандарм. И бьет кулаком в лицо. Бьет, как мужика, изо всей силы. Наступает упавшему мальчишке сапогом на горло и стоит так, пока мальчик не перестал трепыхаться.

Микко невольно ускоряет бег, изо всех сил отталкивается палками – прочь, прочь от этого страшного места.

Не так быстро, как первую, прошел и вторую деревню, вытянувшуюся вдоль речки.

И опять повезло. Ближе к вечеру его догнал санный поезд, мобилизованные немцами на извоз крестьяне из русских деревень. Поведал и им свою легенду, вернее, часть ее.

Упомяни, что совсем недавно был в Ленинграде, начнутся расспросы: что там и как там. Правду говорить рискованно, вряд ли немцы такое скопление русских без своих глаз и ушей оставили, наверняка в группу внедрены предатели. А говорить то, что было отработано в соответствии с легендой как линия поведения – зачем своих, уж если не обманывать, то вводить в заблуждение и душу им травить, рассказывая только про бедствия блокадников.

Посочувствовали и взяли с собой.

– Садись в любые сани и поезжай, пока по пути.

Но о себе мало что сказали. Может быть, его опасались, может, кого из своих подозревали, а скорее всего, жизнь под оккупантом приучила их сто раз подумать прежде, чем слово сказать.

Поздно вечером остановились на ночлег. Поужинали как-то уныло, лишь бы «кишку набить», и сразу же легли спать.

Хотелось спать, и глаза закрывались, но сон не шел. Лезло в голову, проигрывалось то, что предстояло ему сделать здесь, за линией фронта. А когда эти заботы оставили, громко храпевший дядька мешал заснуть. Его будили, поворачивали на бок, но, заснув, он снова ложился на спину и начинал храпеть.

* * *

Мама вспомнилась.

Как-то, Миша тогда в очередной раз перечитывал островную жизнь Робинзона Крузо, а мама, вывалив из мешка на пол старые носильные вещи и тряпочки, перебирала их, подозвала его нежным умильным голосом:

– Мишутка, подойти ко мне, сынок.

– Что?

– Твоя, – мама приложила к его груди маленькую распашонку. – Давай примерим?

– Ну, вот еще... Чего придумала, – недовольно проворчал Миша. – На один палец только налезет.

– Какой же ты тогда крошечный был. И хорошенький.

Усадила Мишу рядом с собой на пол и рассказала, что они, особенно папа, очень хотели мальчика, сына. Папа даже имя заранее приготовил. И когда мама была в интересном положении, папа часто прижимался щекой к ее животу и тихонечко окликал:

– Миша-а, Мишенька-а, ты меня слышишь?

– А если там девочка? – сомневалась мама.

– Тогда в следующий раз будет Миша, – не огорчился папа и такому разрешению от бремени. И сейчас оптимизма не терял, опять принимался звать: – Миша-а, Мишутка-а...

Поначалу мама смотрела на папины затеи только как на желание подольше быть возле нее и ласковее к ней относиться. А потом, с положенного срока, вдруг стала чувствовать, как в ответ на папины призывания ребеночек толкает изнутри, может быть, ручкой или ножкой.

– Слушай! Ты только посмотри – слышит и отвечает!

Восхищалась мама, восхищался папа, восхищались они вместе и с сияющими глазами прижимались друг к другу, обнимались, сливались в одно целое – едина плоть бысть.

Удивительно было Мише слышать об этом, потому что в жизни папа с ним особенно нежным и ласковым не был. Он заботился о сыне, непременно откладывал свои дела и помогал Мише, если Миша его об этом просил или сам видел, что сыну нужна помощь. Находил время погулять, рассказывал поучительные истории, и были те истории не нотациями, но наставлениями к жизни.

– Запомни это, мало ли, окажешься сам или кто-то из твоих друзей в таком положении, будешь знать, как поступить.

На похвалу не был жаден, подбадривал и поддерживал все благие Мишины намерения. И никогда не отмахивался от вопросов. Если не знал ответа, обещал узнать либо советовал, где об этом прочесть или у кого из знакомых спросить, кто лучше знает.

Но с той поры, как Миша подрос, на руки его практически не брал, разве что по необходимости поднять или перенести, не сюсюкал и ласковые слова говорил редко. Любил не меньше, но в любви его – забота о будущем сына, об умении его обустроиться в жизни, с годами все больше выходила на первый план и все дальше оттесняла нежность и вообще эмоции.

Мише этого, видимо, не хватало, и он сам домогался общения с папой. Вздирался на диван, обхватывал отца за шею и пытался растормошить на борьбу. Но папа не поддавался. Нередко мама принимала Мишину сторону:

– Ваня, поиграй с ребенком...

Отец отнекивался:

– Не умею... Не знаю, как...

Но однажды уступил навязчивости сына и уговорам жены, и на второй минуте «борьбы» выронил Мишу из рук – и плач, и слезы, и кожа содрана на плече.

После этого мама уже не Мишину, но папину сторону держала:

– Не мешай папе, пусть отдыхает. А то опять стукнешься и плакать будешь.

Много раз просился к папе на работу, покататься на машине, на настоящей «скорой помощи» проехать, ветром пронестись по улицам с сиреной под восхищенные взгляды всех идущих и завистливые медленно едущих.

Но папа кататься не брал, нельзя, говорил. А почему нельзя, не объяснял.

Объяснила мама:

– Больные всякие бывают. А папе и на дорожные аварии ездить приходится, там кровь, увечья. Опасается, не испугался бы ты.

– Я не испугаюсь, я не буду бояться, – обещал Миша.

Но папа оставался непреклонным. Взял Мишу только тогда, когда отозвали его из отпуска на неделю раньше срока, но не на «скорую», а на другую машину. Вот тогда Миша накатался с папой «под самое горлышко». Развозили и медикаменты, и медоборудование, и мебель, и белье возили из больниц в прачечные и из прачечных в больницы.

Каждое утро вставал вместе с папой рано-ранехонько, завтракал через силу, есть в такую рань не хотелось, а некормленного папа не брал: «Незаправленную машину на улицу не выпускать!» И выходили из дому на свежесполитый асфальт, в свежий прохладный воздух. Потом ехали на трамвае, сначала в полупустом – можно было и в середине сесть, и в любом конце вагона, и на площадку выйти. А на «гаражной» остановке из вагона они уже не выходили, а вытискивались.

Днем солнышко накаляло машину, и в кабине вкусно пахло парами бензина и горячей обивкой сидений. Этот запах Миша помнил и ощущал даже сейчас, на морозном воздухе.

Когда по городу ездили, папа попутно показывал достопримечательности Ленинграда и характеризовал их:

– ...Медный всадник, поставлен на монолит, на Гром-камень... Памятник Николаю Первому, посмотри, держится только на двух опорах, на двух задних ногах коня... Исаакиевский собор, построен на сваях из лиственницы... Александрийский столп, полностью вытесан из монолита, стоит безо всякого крепления, под собственным весом.

Видимо, для него важна была опора, основа сооружения. А может быть, и всякого существования.

Ремнем отец наказал его один раз в жизни, дважды несильно шлепнул, и то по маминому настоянию. Когда Миша без спроса взял и, разрезая на две половинки длинный карандаш, нечаянно сломал папину бритву, которую ему баба Аксинья отдала. Раньше это была бритва деда Матвея.

Мама работала на трикотажной фабрике. Но что она там делала, Миша толком не знал, вроде бы пар регулировала. О ее работе дома почти не говорили. Ходила туда, потому что надо ходить на работу. А жила семьей и домом. Она умела и любила вязать и на спицах, и крючком. И вся их комната была в подзорниках, салфеточках, накидочках. И у папы, и у Миши всегда были вязаные свитера, шарфы, рукавички.

И еще папа называл маму «наша вкусоделательница». Наверное, потому, что мама вкусно готовила, и потому, что в очень редких случаях готовила просто еду, но всегда «делала что-нибудь вкусненькое». И мужчинам своим даже самые обычные носки не просто покупала, но дарила. В свою очередь, если папа, даже по ее просьбе, покупал с полочки сковородку, а Миша лобзиком выпиливал из листа фанеры подставку под ту сковородку, мама знакомым хвалилась:

– Ваня мне сковородку подарил. А Мишутка подарил для сковородки подставку.

Иногда папа подшучивал над ней:

– Аннушка, я тебе подарок принес, – и клал на стол кусок говядины.

– Вот спасибо, – радовалась мама. – Сейчас я вам что-нибудь вкусненькое сделаю.

Резала говядину на пластинки, обязательно поперек волокон, укладывала слоями в глубокую сковородку, сверху обкладывала кольцами лука, посыпала твердым сыром, поливала майонезом и ставила в духовку. Достав готовое кушанье, показывала аппетитную золотистую корочку и накладывала в тарелки.

– Ну, пробуйте, что получилось.

А получалось очень и очень вкусно.

Но вот шить мама не любила. Порвавшееся штопала, а новых вещей сама никогда не шила, хотя была у них швейная машинка.

– На руках – не шитье, а на машине шумно очень, всю голову продолбишь, пока что-нибудь сошьешь. Лучше я Марине свитерок или джемперок свяжу, а она мне юбчонку или платишко сошьет.

Тетя Марина – мамина подруга. Раньше они вместе работали, а потом тетя Марина с фабрики уволилась и перешла, из-за жилья, работать в домоуправление в Дзержинский район,

на благоустройство территории. А сейчас работает сантехником в аварийной службе. В сантехники перешла, когда война началась, и все мужчины ушли на фронт.

Миша не любил, когда мамы не было дома. Ему всегда хотелось пусть самого незначительного подтверждения ее существования и ее присутствия: стул ли под ней скрипнет, или она на кухне посудой звякнет. Когда мама рядом – и на душе веселей.

А с папой иначе. С ним не было весело, но с ним было уверенно и покойно. Даже если он не рядом, а на работе. Папа есть, значит, будет все, и все будет хорошо.

* * *

Наутро, прислушиваясь к разговорам обозников, Миша понял, что немцы в последнее время стали особенно нервными и подозрительными. По мнению крестьян, ждали наступления Красной армии. Постепенно стала понятной и причина подавленного настроения: немцы готовились к обороне, а их, русских людей, теперь заставят возить боеприпасы к передовой и строить укрепления. А куда денешься? На извоз брали только из семей и зачитали приказ: за плохую работу или побег будут расстреляны и саботажники, и их семьи.

И расстреляют, не пустые-то обещания. При каждом рейдировании, на каждом маршруте видел Миша зверства оккупантов. Расстрелянные по оврагам и повешенные на площадях и улицах, не смирившиеся с оккупантами, патриоты и их семьи, от малого до престарелого. Разрушенные города, сожженные деревни, колонны их жителей, гонимые в рабство в Германию. Эшелоны вывозимого продовольствия и промышленного оборудования. Не напрасно говорили: «Фашистский вор на грабеж и разбой скор».

Где-то он читал, дословно уже не помнит, но суть тех слов такова: если ты не пойдешь воевать за свою страну, то на твоей совести будут смерть и плен твоих соотечественников, которых ты мог защитить и не защитил.

Конечно, возраст у него еще не солдатский. Но разве мало взрослых отказалось от брони и ребят, которые приписали годы к своему возрасту и пошли если не в армию, то в ополчение. И в партизанских отрядах немало его сверстников, в том числе и разведчиков. А он чем хуже? Или фашисты ему мало зла принесли? Или он не ленинградец? А почти у всех ленинградцев была внутренняя установка: «Вы нас не возьмете. Назло вам, подлюки фашистские, выживем. И с вас, гадов, с живых не слезем. Живыми вы от Ленинграда не уйдете. Ни один».

Значит, и ему ходить по немецким тылам, искать их уязвимые места, чтобы ни один фашист не ушел живым с нашей земли.

Поутру пути их расходились, и после завтрака, не дожидаясь обоза, Миша стал собираться в путь.

Отошел в сторонку, легонько стукнул лыжи полозьями друг о друга, задержавшиеся снежинки смахнул варежкой. Возле остановились два парня лет пятнадцати. Один, среднего роста, с остреньким личиком и проворными, немного раскосыми глазами, несколько походивший на лисичку, сказал товарищу, высокому, с насупленными, сросшимися в одну линию черными бровями:

– Слышал сейчас, полицаи между собой говорили. В Рямзино будем возить боеприпасы.

– Значит, не к самой передовой...

– Нет. К передовой или немцы, или полицаи будут довозить. А в Рямзине, говорят, вроде перевалочного пункта. Немцев там почти нет, только охрана у склада. Да еще полицаи. Дергались сейчас, советских диверсантов бояться, – и повернулся к Мише. – Слышишь, пацан, пойдешь дальше, через Дерюгинский лес осторожно иди, там партизаны. – И взяв Мишу за плечи, тряхнул хорошенько, впился глазами в глаза. И озлобление, и бессилие, и мольба в его раскосом взгляде. – Ты все слышал? Там партизаны.

– Мне-то что... – Миша равнодушно пожал плечами.

– Шкура, – почти без звука выдохнул парень и толкнул мальчика в сугроб.

Миша молча встал, отряхнул пальто, сбил снег с шапки. Надел лыжи и оттолкнулся палками.

– Сам ты дурак!

– Что-о?! Ах ты, шкет! – парень бросился за Мишей.

Но попробуй, догони карела, когда он на лыжах! И ветер не догонит.

Миша, лишь слегка повернув голову, боковым зрением оглянулся на парня: «Что, съел? Только себя умным считаешь? А вышло – сам дурак». И тут же одернул себя: «Что ж это я на своих-то. И потом, он не виноват, откуда ему знать, кто я. Нет, напрасно я его обозвал, не надо было». – Заскреблась досада: ошибку допустил, следовало бы помягче выйти из ситуации. Как? Ну, например: «Мне Дерюгинский лес совсем не по пути». И себя бы не расшифровал, и человека, своего человека, не обидел бы. И самое главное, не привлек бы к себе внимания. Обидчики запоминаются. И кто знает, окажись Миша снова в этих краях, как отнесутся к нему парни? Безграмотный поступок. А если они проверяли его по заданию тех же полицаев? Нет, не похоже, тогда действовали бы конкретнее, попросили бы напрямую.

«Ладно, если встретимся, придумаю, как помириться».

Миша остался вполне доволен таким решением. И великодушие ему понравилось еще больше, чем месть. Но душу долго скребло: оплошал, поддался эмоциям и безграмотно поступил.

Сообщение об обозе и о «перевалке» в Рямзине оставил в первом же по ходу «почтовом ящике», добавив, что информация нуждается в проверке и подтверждении.

Ну вот, еще одно, хоть и незапланированное, мероприятие провел. В какой-то степени повезло.

Как ни скользко и ненадежно везение разведчика, но отрицать и тем более отвергать его нельзя. Случалось оно и в работе Миши. А однажды везение ему, похоже, жизнь спасло.

В первых числах ноября 1941 года вывелся он за линию фронта. Задание – разведрейд. Возвращение, Миша до сих пор помнит это число и, возможно, до смерти не забудет, было назначено в ночь на 14 ноября в районе железнодорожной станции Погостье.

И буквально накануне выдвижения к линии фронта, километрах в двадцати от Погостья, свалился он с животом и температурой. Видимо, съел что-то подпорченное или иначе инфекцию занес. Ни есть, ни спать толком не мог. Трое суток отпаивала его бабушка, бабулечка Антонина Васильевна отваром тысячелистника и конского щавеля, пока спала температура и прекратило свистать из всех щелей. Еще сутки отсыпался и отлеживался и шестнадцатого отправился к линии фронта.

На подходе к деревне Виняголово, что в четырех километрах от Погостья, остановил его шедший навстречу дедок в стеганой суконной ушанке домашнего шитья, с завязанными на затылке ушами, и еловым узловатым посошком в руке.

Остановился, поправил котомку за плечами, внимательно осмотрел Мишу и спросил:

– Ты, хлопчик, куда путь держишь?

– Так. Хожу. Родители без вести пропали, вот и хожу по добрым людям. Я им по хозяйству помогу, они меня покормят.

– Возвращайся, хлопчик, нельзя тебе туда. Твоих третьего дня немцы арестовали, когда они линию фронта хотели перейти. Сейчас их в Виняголове в бане держат под замком. И охрана выставлена⁷.

⁷ Вероятнее всего, это была группа Николая Кузьмина, состоящая из 6–7 подростков. 15.11.41 г. группа задержана фашистами при попытке перейти линию фронта. Расстреляны 05.12.41 г. на льду реки Мги возле деревни Виняголово. По некото-

– Ошибаетесь, дедушка. Нет у меня никаких своих. Один я, сирота.

– Ошибаюсь не ошибаюсь, путаю не путаю... Неважно это. Одно говорю – тебе туда нельзя. Убьют.

Ухватил мальчика за запястье и вел так обратно с полкилометра, до развилки. Вел молча, о себе не рассказывал и вопросов никаких не задавал. У развилки махнул посошком вдоль большака и сказал:

– Ступай в прямом направлении. А мне сюда. – Повернул на боковую дорогу и вместо прощальных слов добавил: – Я в Гражданскую партизанил. Красным партизаном был, значит. Смекаешь?

И не нуждаясь в ответе, ушел по разбитой проселочной дороге.

Вот так. Как говорится, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Не свались он с животом – и хана ему.

До деревни Ханхилампи, охватывающей полукольцом ламбушку, небольшое озерцо, добрел уже в сумерках – зимой на севере темнеет рано.

Постучался в один из домов.

– Кто там? – женский голос.

– Хозяйка, пустите погреться.

– Нет у нас места. Сами в тесноте живем.

– Мне места не надо. Посижу, где скажете, согреюсь немного. А как буду в тягость, то дальше пойду.

– Погреемся он. Ты в лес ездил, дрова пилил, колол, чтобы греться? – проворчала хозяйка, однако дверь отперла и в домпустила.

Это была молодая, но утомленная работой и заботами карелка. И как раз сейчас она с двумя малыми детьми собиралась за стол. Видимо, этим объяснялась ее неприветливость: самим еды в обрез, и еще один рот объявился.

– У меня свое, – чтобы успокоить ее, Микко положил на стол вареные в мундире картофелины и кусочки хлеба.

Женщина потрогала картофелины, вздохнула:

– Они же мерзлые, как ты их есть будешь? А туда же: со своим пришел. – Посмотрела на Микко: ребенок, совсем еще ребенок. – Ешь, что на столе. Как говорят, где трое прокормятся, там и четвертый с голоду не помрет. Ты чей будешь?

– Метсяпуро. Микко Метсяпуро.

– Не слышала. Куда ж ты, на ночь глядя, собрался, Микко Метсяпуро?

– К родным. Поживу у них немного.

– А с родителями почему не живешь?

– Дом разбомбили. Родители пропали без вести.

– И у нас дом разбомбили. Мы тогда в Териоки⁸ жили. А зимой тридцать девятого русские начали войну, напали на Териоки, и в сеновал снаряд попал. Как занялось пламя, все вмиг сгорело: и дом, и дровяник, и хлев со скотом, и все, что нажили. Даже яблони и вишни, которые ближе к дому росли, – сгорели. Ничего от хозяйства не осталось. Хорошо, сами уцелели.

Переехали сюда, в Ханхилампи, к матери мужа. Свекор незадолго до того умер, да и свекровь болела, на полтора года только свекра пережила. Усадьба к нам отошла. Хорошая усадьба.

А в сорок первом опять война... Мой добровольцем пошел. Дом свой в Териоки отвоевывать. А что там отвоевывать – все сгорело. И зачем? Здесь усадьба хорошая. Свекор все добротню делал, не на один день строил. Дом просторный, хлев теплый, большой сеновал, дро-

рым сведениям, самому младшему из них, двенадцатилетнему пареньку, удалось бежать. Дальнейшая судьба его неизвестна.

⁸ Сейчас г. Зеленогорск.

вяник, яблони, вишни, сливы, огород... Надел взял большой, обустроивался просторно, чтоб, как говорится, соседей локтем не толкать. Ох, мужики, мужики... Не хотите вы мирно жить, без войны. Пошел в Териоки голую обгоревшую землю у русских отнимать: моя земля, сказал. Вот и отнял. Навечно отнял – лежит теперь в Териоки.

Миша ел, не торопясь, чтобы насытиться малым. Набросься на еду – подозрение может быть, сказал, от одних родственников к другим идет, а голодный, будто неделю не кормили.

После еды помог женщине по хозяйству. Потом попили чаю – заваренных брусничных листьев. Хозяйка уложила детей и для Микко принесла большую охапку соломы. Выровняла, застелила старым покрывалом. Он положил под голову сумку, на сумку – шапку, а вместо одеяла – пальто.

Улеглась и сама. И опять принялась пилить погибшего мужа:

– Здесь ему земли мало, Териоки пошел отвоевывать...

«К чему это она опять про Териоки? – насторожился Микко. – Проверять?!» – И сказал:

– Териоки – это финская земля.

– Финская земля... Финской земли, знаешь, сколько раньше было? До Урала. А на севере за Урал, до Оби и даже за Обь. Что ж, теперь идти у русских Петербург отвоевывать, у немцев Псков и Новгород, у татар и башкир Урал и Заволжье отбирать, раз все это раньше финские земли были?

Микко попытался было вставить слово, но попробуй кто вставить хоть звук в монолог осерчавшей женщины.

– Нет, вам, мужикам, лишь бы воевать, а о семье думать вы не хотите! Учитель истории говорил, что в давние времена, чуть ли не при рождении Христа, русские, они тогда венетами⁹ назывались, на финские земли пришли. Вся северная да и часть средней России, ближе к северу – это бывшие финские земли. И всегда мы с ними жили по соседству и ладили. Потому что свое доброе имя ценили, друг друга уважали. Русские землю пахали, хлеб растили, финны охотились, рыбу ловили, грибы, ягоды собирали. Каждый занимался своим делом, не лез в чужие угодья, не считал себя умнее соседа, не поучал, не отбирал то, что сам не заработал. Одним словом, по-людски жили. А тут... В тридцать девятом русским мало земли показалось... До Тихого океана все под себя подобрали, нет мало, подай им еще и Карелию. Теперь нашим воевать засвербело... Вот и навоевался. Ему что, лежит в своем Териоки. А мне... Как мне одной хозяйство вести? Как детей растить?.. – всхлипнула, посморкалась. – Я ведь учительницей была в младших классах. И хотела потом, когда дети немного подрастут, доучиться, стать учительницей истории. А сейчас какое учительство, когда хозяйство на руках...

Но услышав сонное посапывание мальчика, буркнула:

– Все вы одинаковые, – и потихоньку выплакавшись, повсхлипывала, повздыхала и тоже заснула.

Утром Микко помог немного по хозяйству, позавтракал соленой рыбой и чаем из заваренных брусничных листьев и, поблагодарив хозяйку, собрался дальше.

Хозяйка на прощанье положила в банку из-под тушенки соленых грибов и дала краюшку хлеба. Перекрестила вслед и прошептала:

– Помоги ему, Господи. И непусти такого с моими детьми...

* * *

А его учительница в младших классах была совсем старенькая, звали ее Таисия Михайловна. Добрая была и со всеми разговаривала ласково. Что в первые дни в первом классе вошло Мишу в заблуждение. Он думал: «Вот этот мальчик – ее сын, а вот эта девочка – ее дочка,

⁹ Отсюда: venalainen – русский, русская; venaja – русский язык.

раз она так ласково с ними разговаривает». Уроки она объясняла скучновато, но понятно. И на дом помногу не задавала. Так что дома оставалось только пробежать глазами, повторить, чтобы лучше запомнились устные, да немногим больше времени отнимали письменные. Уроки всегда так делаются – когда понятно, тогда недолго.

Каждый раз на классном часе, после коротенького классного собрания, проводились громкие читки. Читали о Кутузове и о битве при Бородине, о Суворове и его чудо-богатырях и даже о дотоле не известном никому из учеников казачьем генерале Слепцове, который учился вместе с дедушкой Таисии Михайловны в Горном институте на Васильевском острове. Книжку о нем, больше похожую на тетрадку, еще дореволюционную, без обложек, но с «ятями», принесла Таисия Михайловна. И сама читала, потому что ученики в этих «ятях» только путались.

Герой Кавказской войны Слепцов Николай Павлович недолго проучился в Горном институте, уговорил отца перевести его в школу гвардейских подпрапорщиков. И окончив ее в чине прапорщика гвардии, попросился служить на Кавказ, где шла война.

Через девять лет боевой службы был назначен командиром Сунженского казачьего полка.

Казачи гордились своим командиром и любили его.

Противник – чеченцы, как о них написано в той книжке – умелые воины и стремительные бойцы, народ мужественный, но не мирный, постоянно промышлявшие набегами, грабежами и разбоем, – уважали и боялись его.

Уважали за то, что он знал и уважал обычаи гор, был честен, всегда держал даже врагу данное слово и никогда не обманывал. Храбрый и отважный в бою, умелый в воинском искусстве, не единожды обращал в бегство вождя горцев, аварца по национальности, дагестанского и чеченского имама Шамиля и его воинство. К разбойникам был беспощаден и скор на наказание, за одного убитого русского, будь то казак или поселенец, немедленно слетали с плеч две чеченские головы. Горцы знали: где Слепцов, там наказание неотвратимо, и держались в своих разбойных устремлениях от Слепцова подальше. А матери-чеченки страшили своих непослушных детей: «Не будешь слушаться, Слепцов придет!» – и те мигом затихали.

Но знали горцы и другое – невинного Слепцова к ответу не привлечет.

Уважали его и за великодушие. Когда в бою под Валериком был убит один из горских предводителей наиб Анзоров, Слепцов послал к его вдове гонца с выражением соболезнования о смерти храброго воина и с дорогими подарками. Захваченных казаками во время экспедиций мирных жителей всегда отпускал и, если кому предстояло далеко добираться до дома, снабжал деньгами на дорогу.

Зная его честность и справедливость, даже горцы приходили к нему, случалось и изда-лека, чтобы он рассудил спор. И суд его принимали, как безоговорочный: «Так Слепцов ска-зал!»

Слепцов пал в бою, во время атаки был смертельно ранен пулей в грудь возле сердца. Перед тем боем он написал письмо родителям и сделал на нем пометку: «последнее».

Похоронили его, уже генерал-майора, в казачьей одежде: так хотели любившие его казаки.

А Высочайшим указом повелевалось: «В память генерал-майора Слепцова, образовав-шего Сунженский казачий полк и постоянно водившего его к победе, станицу Сунженскую впредь именовать Слепцовскою».

И даже враги его, горцы, в память о нем сложили песню. Была та песня в книжке, но Миша наизусть ее не запомнил¹⁰.

¹⁰ Чеченская песня о генерале Слепцове: Знали все горы, Богатый и бедный, Знали бесстрашную удаль Слепцова, И госте-приимную сень его крова. Знал его почтенный народ кабардинцы, И дальние жители гор – тавлинцы, Знали и мы, чеченцы, соседи его, И любили врага своего. Слава его высока и светла Как вершины Казбека, И грудь боевою отвагой полна, Полна, как грудь могучего льва.

Еще читали о героической гибели героического крейсера «Варяг». И когда читали про «Варяг», в конце классного часа все, и Таисия Михайловна тоже, хором пели:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступа-а-ет...
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ет!

А мальчишки еще и так, ладошками по партам, негромко отбивали.

Почти у всех учителей в их школе были прозвища, даже у директора, но у Таисии Михайловны не было. Наверно потому, что Таисия Михайловна уже совсем старенькая, самая настоящая бабушка. А кто же бабушку обозвать решится? Только последний негодяй.

– Этот класс у меня последний, четвертый выпуск и больше брать не буду, на пенсию пойду, – говорила Таисия Михайловна.

И поступила, как говорила. Весной сорок первого проводили ее на пенсию и подарок, большую фарфоровую вазу с надписью, вручили. Эту вазу они всем классом помогали ей отвезти домой. А она их чаем напоила, поцеловала каждого на прощанье и даже немножко поплакала, а девочки ее утешали и мокрый платок ей к щекам и к глазам прикладывали, чтобы глаза не покраснели.

Со второго полугодия третьего класса физкультуру у них вела уже не старенькая Таисия Михайловна, а недавно пришедший в школу Леонид Иванович. О нем говорили, что он бывший пограничник, чуть не командир заставы, теперь в отставке по состоянию здоровья после ранения. Это в глазах учеников, особенно мальчишек, создавало ему немалый авторитет. В другой школе Леонида Ивановича сразу бы героем объявили, но в их микрорайоне было построено четыре кирпичных ДКСа¹¹, в каждом четыре этажа и две парадные, целый городок. Поэтому в школе две трети учеников, если не больше, были детьми военных, многие из которых прошли и Хасан, и Халхин-Гол, и Белофинскую кампанию.

Невысокий, подтянутый, смуглый, с подрывным оспинами лицом, резкий на тон и иной раз не сдержанный на обидное слово, Леонид Иванович с первого урока не очень-то понравился классу, особенно девочкам.

– Висишь, как куль с зерном... Будто не ученик упражнение делает, а краб щупальцами шевелит, – под общий смех характеризовал он неуклюжего мальчишку на перекладине.

– А ты что распласталась по мату, будто мокрая тряпка по полу? – обращался к сорвавшейся с брусьев девочке. – Вон какая лужа слез натекла. Быстро встала, побежала, глаза вытерла и боль забыла.

Но от урока к уроку класс его резкости и обиды замечал все меньше и меньше. Уже не хотел их видеть, мимо себя пропускал.

– Тренируй руки, тренируй. Если на перекладине подтянуться не можешь, то когда с крыши, с дерева или в пропасть сорвешься, тоже не подтянешься и не выкарабкаешься, от неумения погибнешь.

– Не поддавайтесь боли, преодолевайте ее. Если снаряд вражеский полетит, тоже будешь лежать и плакать от того, что коленку ушибла? Надо вскакивать и быстрее в укрытие бежать. Иначе – смерть.

Уложившись с программой минут в тридцать-тридцать пять, в оставшиеся от урока десять или пятнадцать учил ребятшек прикладным знаниям. Как взобраться на отвесную стену с помощью шеста, а с помощью обычного брючного ремня – на столб или на гладкое дерево, как невооруженной рукой защититься от удара камнем или палкой, как вывернуть нож

¹¹ Дом командирского состава.

или выбить пистолет у нападающего врага, как снять с дерева застрявшего в ветвях товарища и помочь выбраться наверх сорвавшемуся со скалы или со стены.

Увидели, что не «гоняет» их Леонид Иванович, как показалось вначале, а заботится, делу учит, чтобы они были сильными и здоровыми и в случае беды могли сами спастись и другим помощь оказать. А ради этого можно резкости и колкости потерпеть, не кисейные барышни они, а парни, будущие красноармейцы и краснофлотцы.

Летом ходили в двухдневный поход с ночевкой. Сами себе шалаши строили для ночлега и еду, суп и кашу, на костре варили.

В следующем году, в четвертом классе, Леонид Иванович на пустыре возле школы учил, как строить зимние укрытия и как согреваться в них, и мечтал, поближе к весне, когда снегу больше наметет, день станет длиннее и морозы ослабнут, сходить, в этот раз только с мальчишками и только с теми, кому разрешат врачи и кого родители отпустят, в зимний двухдневный поход с ночевкой. А в начале лета – в другой, в лес на неделю.

До сих пор такие длительные походы разрешались только старшеклассникам, и когда те возвращались, их встречали, как героев, на общешкольной линейке. Рапорт от командира похода принимал председатель совета дружины Славка Попов, потом сам докладывал старшей пионервожатой, певичке Людмиле Алексеевне, а та директору школы, что группа из похода возвратилась в полном составе, больных нет.

И еще, как выяснилось тоже в четвертом классе, Леонид Иванович очень любил Ленинград и хорошо знал его историю. Он, со своим фотоаппаратом, и Вовка Гуцин тоже со взятым у отца фотоаппаратом, целый день после школы и в выходные разъезжали по городу, фотографировали, как Леонид Иванович называл, «виды» и «видики» и печатали фотографии.

Потом чуть не всем классом оформляли стенд «На берегу пустынных волн...» Там были фотографии и подписи к ним, и стихи про Петербург-Петроград-Ленинград. И историческая справка Леонида Ивановича, из которой многие узнали, что невский берег и до закладки Петербурга был не таким уж пустынным, как писал о нем Пушкин.

Что на берегу Невы у впадения Охты стояла шведская крепость Ниеншанц, а ниже по течению, на другом берегу Охты, – городок. А всего на территории нынешнего Ленинграда, кроме крепости и городка, находилось едва ли не четыре десятка населенных пунктов – деревень, хуторов, мыз. И ничего удивительного. Именно здесь, по Неве, по этой воде, вдоль этих берегов шли корабли из варяг в греки и возвращались от грек в варяги. И раз здесь находилось сопряжение двух участков: речного и морского, на этом великом торговом пути, разве могло быть такое место необитаемым?

Земля, на которой заложен Петербург-Петроград-Ленинград, ижорская, здесь жил и сейчас в Ленинграде и по окрестностям живет древний финно-угорский народ – ижоры. И Ленинградская область в самом начале постройки северной столицы назвалась Ингерманландская губерния, от немецко-шведского названия ижорской земли – Ингрия, Ингерманландия. Исстари ижорская земля входила в водскую пятину Новгородской республики, затем вместе с Новгородской республикой вошла в состав Русского государства. Жили ижоры и русичи как добрые соседи и братья. Рядом жили, по соседству охотились и рыбачили, вместе воевали против шведских захватчиков и немецких псов-рыцарей. Ижорский старейшина Пелгусий со своим дозором обнаружил приближающихся шведов под водительством Биргера и оповестил о нападении новгородского князя Александра Ярославовича, которого после победы над шведами на Неве стали называть Александром Невским.

Значит, все правильно карельская учительница говорила.

И параллельно, но уже узким кругом, Леонид Иванович, Вовка Гуцин и Сашка Пышкин сделали еще один стенд-викторину, где были фотографии памятников и исторических мест с номерами под фотографиями. Нужно было ответить, кому поставлен этот памятник, чем знаменит этот человек, адрес, где памятник расположен, и назвать фамилию скульптора. А

про исторические места – адрес, какое историческое событие связано с этим местом, и кто из великих или знаменитых людей здесь бывал. Итоги конкурса подвели к новогоднему вечеру. А призы вручали Леонид Иванович, Славка Попов и Людмила Алексеевна. Миша за свои ответы тоже получил приз, не самый главный, правда, но неплохой – коробку цветных карандашей «Радуга», семь штук.

И не думал, не гадал тогда никто из учеников четвертого «б», что Леонида Ивановича на этом вечере они видят в последний раз.

После новогодних каникул на урок физкультуры к ним пришла новая учительница Нонна Иосифовна. Училка классная, ничего не скажешь, кандидат в мастера спорта по гимнастике. Делала стойку на руках, а потом назад медленно изгибалась и пятки себе на голову ставила. Как в цирке.

Девочки с ней быстро сошлись и тянулись к ней больше, чем раньше к Леониду Ивановичу, а мальчишки ревновали, Леонида Ивановича она им заменить не смогла. Леонид Иванович был для них не только учитель физкультуры, и они ждали его возвращения.

И не понимали, что такое «провокационное выступление в печати», за которое арестовывают? В какой печати? И верили: «Произошла ошибка... Разберутся и отпустят...» Не все, правда, спокойно дожидались. Некоторые, самые горячие головы, пригрозили: если до следующего учебного года Леонида Ивановича не отпустят, то они снимут галстуки и выйдут из пионерской организации.

Такое уже было в тридцать седьмом году в Ольгинской школе, где несколько учеников принесли в школу свои галстуки и попросили исключить их из пионеров. Правда, не из-за ареста учителя, а потому, что услышали и поверили, будто всех пионеров будут отправлять на войну в Испанию, а комсомольцев расстреливать.

Не отпустили Леонида Ивановича до конца учебного года. А летом война началась и слух прошел – отправили его на фронт, рядовым красноармейцем.

Догадался потом Миша, именно к войне их Леонид Иванович подготавливал, чтоб не растерялись, не запаниковали, а знали, что делать и как поступать, когда она, ожидаемая, но неожиданная, свалится всем на головы.

Это был второй арест в их школе. Первый, – Миша тогда учился еще в первом классе, – когда арестовали двух пятиклассников Мальцева и Куприянова. Они на перемене перед уроком обществоведения написали на классной доске «СССР» и «Торгсин» и расшифровали. СССР – «Смерть Сталина спасет Россию», а Торгсин – «Товарищи! Опомнитесь! Россия гибнет, Сталин изнуляет народ!»

И не буржуи какие-нибудь, оба из рабочих семей, у обоих отцы коммунисты ленинского призыва.

Торгсин, – как говорили в народе, магазины для своих и чужих буржуев, торговавшие на иностранную валюту, драгметаллы и драгоценности, – помнили многие. И Миша помнил красоту, шоколадно-конфетное и пирожно-пряничное богатство витрин торгсинского магазина, недалеко от их дома, помнил и их недоступность. И слезы, и мольбы:

– Мама, купи-и...

И недовольство мамы. Она поначалу объясняла ему, что нет у них ни валюты, ни драгоценностей, потом сердито дергала за руку, а там, чтоб не искушать ребенка, и вовсе по той улице перестала водить. Но это было давно, еще до школы. Торгсин¹² закрыли перед тем, как он в школу пошел, в том году, когда отменили карточки. После отмены карточек дальнейшее существование его было признано нецелесообразным. Радовались ленинградцы – после отмены карточек жизнь с каждым годом становилась заметно лучше. А перед самой войной,

¹² Торгсин, реализация товаров за валюту, драгметаллы (золото, платина, серебро) и драгоценности, существовал с 1930 по 1936 год.

после карточек и нехватки буквально всего, вовсе обеспеченной казалась. Многие говорили и искренне радовались – будем жить еще лучше. И Торгсин, и обиды, с ним связанные, забывались.

* * *

За деревней у валуна в снег воткнута раздвоенная вершина молоденькой сосенки, в развилке ее ущемлен клочок сена.

«Во втором, по ходу движения, населенном пункте провести разведку без длительной остановки. Сообщение передать через тайник “сосна”. В дальнейшем легализоваться по основной легенде и приступить к выполнению разведзадания “скала”. Соблюдать предельную осторожность», – расшифровал Микко значение этого букета, – то было подтверждение уже полученного им задания. – А «скала» – это деревня Киеромяки.

Раз соблюдать предельную осторожность, значит Валерий Борисович шифровку подписывал, – догадался Микко. – Он всегда говорит: «Лучше не узнать, чем расшифроваться, самое главное задание разведчику – выжить и вернуться, самое главное его умение – суметь сохранить себя и тех, с кем в контакте работаешь. Не узнал сейчас, узнаешь попозже или иным способом. Но если окажешься в руках врага, то и сам пропадешь, и других за собой потащишь».

И сигнал установлен достаточно давно – снегу намело на сосенку. Небось, еще в то время, когда он готовился. Значит, Валерий Борисович уже тогда был уверен в нем, знал, что Миша возьмется за это задание.

Хуторок на склоне холма пролетел стрелой. А по следующей деревне Сеппяола шел медленно. Устал. И проголодался. И надо так: медленно. На бегу много не увидишь, даже с его опытом. Головой старался не вертеть, больше пользовался боковым зрением, но все отмечал: следы на снегу колесные, от машин. Но вот к стоящим на отшибе кузнице и двум большим сараям поверх машинных следов наложились более узкие и с другим, продольным, рисунком. Эти, скорее всего, оружейные.

Остановился, поправил крепление и за эту минутку разглядел: в приоткрытой двери одного сарая поблескивает крашеный металл. Может быть, труба, а может быть, и ствол пушки. Перед сараями – костер, на костре – котел, над котлом – пар, и возле хлопочет финский солдат с «лайкой», длинной винтовкой, дочерью русской трехлинейки, за спиной.

«Костер. Очень хорошо, прекрасный предлог подойти».

Достал из сумки пачку галет, ту, что дал фельдфебель на передовой, положил в карман и направился к костру. Солдат у костра его заметил, но подойти позволил.

«Охраняют не очень-то усердно, – отметил Микко. – Должно быть, чужих здесь не бывает, а своих наперечет знают, деревня небольшая и в стороне от больших дорог. А может, еще почему? Посмотрим».

– Хювяя пайвя.

– Здравствуй. Зачем пожаловал? – спросил солдат.

– Кипятка кружку, если можно.

– Зачем тебе кипяток?

– Сухие, запить бы, – показал галеты.

– Кипяток – очень важный военный продукт, можно сказать, стратегический. Так что без разрешения господина унтер-офицера никак не могу дать. А господин унтер-офицер у нас очень строгий. Пойду, спрошу.

Солдат направился в кузницу.

Микко насторожился. «Зачем он пошел к унтеру? Ясное дело, не разрешение на кружку кипятка спрашивать. Может быть, подозрение какое насчет меня? Если так... Сейчас я повод

дал? Или раньше? А может быть, что-то узнали? У немцев, да и у финнов тоже – разведки имеются... Если так... Лыжи на ногах, до дороги метров 300–350, с разбегом минуты полторы-две, а по дороге под уклон. На ногах не догонят, а пока лыжи наденут, если даже лыжи у них есть, я уже за деревней буду. А там лес...»

И аккуратно, чтобы не привлечь внимание, для видимости дела подправляя дрова под котлом, развернулся лицом к кузнице, а лыжами к дороге.

«А если догонят... Если догонят, скажу, что испугался, потому что летом, когда я так же подошел к солдатам попросить хлеба, офицер отхлестал меня прутом... Нет, нехорошо, подозрение будет: почему и тут к солдатам, и там к солдатам, почему в распоряжение военных объектов лезу. Вот. Скажу: про военные объекты знать ничего не знаю, а к солдатам подошел потому, что солдаты добрее, чем гражданские, скорее еды дадут. А проверять, пусть проверяют, не выдумал же...»

Хотя, лучше бы не проверяли. Там, где офицер отлупил, немцы действующий железно-дорожный мост под разрушенный маскировали. Крепили сбоку, опустив до воды, будто обрушенные, сколоченные из деревянных брусков, окрашенных под металл, и сваренные из тонкого железа погнутые фермы, выводили вбок искореженные рельсы, над целым участком натягивали маскировочную сетку с аппликациями на ней, изображающими проломленный бомбежкой мостовой настил. И подходы к нему минировали.

Потом, когда Миша доложил о мосте Валерию Борисовичу, этот мост наши летчики разбомбили, а Мише объявили благодарность и выдали премию: банку сгущенки, сто граммов сливочного масла и четыре талона на усиленное питание. На усиленное питание каждый день давали суп с кониной и рыбу с ячкой, по полной тарелке. В первую блокадную зиму для многих ленинградцев это даже не царский подарок, а, можно сказать, Божья милость – возможно, неповторимый случай не умереть от истощения.

«Нет, про тот случай без острой нужды лучше не говорить – подозрение может быть...»

Солдат вышел из кузницы с котелком и пустой кружкой.

– Держи, – протянул кружку, налил в нее из котелка горячего смородинового отвара с толстыми, разбухшими ягодами.

– Большое спасибо, – поблагодарил Микко.

– На здоровье, – отозвался солдат.

Подошел унтер-офицер, толстый, высокий и с виду добродушный.

– Здравствуй, господин офицер, – Микко решил, что маслом кашу не испортишь.

Добродушие унтера тотчас улетучилось. Несколько секунд он смотрел на Микко, как известное животное смотрит на новые ворота, затем грозно обратился к солдату:

– Это кто такой?

– Мальчишка.

– А почему он в военное время находится в расположении военного объекта?

– Потому, что он – будущий солдат.

– А пароль он знает? Солдат Арикайнен, ты у него спросил пароль? – И с тем же грозным видом обратился к Микко: – Говори пароль: что такое – бычий глаз в стене?

Микко знал ответ на эту старинную финскую загадку:

– Сук. Затесанный сук на бревне.

– Молодец! – обрадовался унтер-офицер. – Воин! Настоящий солдат! Как тебя зовут, солдат?

– Микко Метсяпуру.

– А я Йорма Кананпойка¹³. Похож на цыпленка? Нет? Должен быть похож, раз такая фамилия... Ты куда путь держишь?

¹³ Цыпленок. Буквально: курицын сын.

– К родственникам. Родители пропали, вот и хожу, то у одних поживу, то у других. Постоянно взять никто не может, с едой у всех тяжело. А если ненадолго, то принимают пожить.

– Война... – грустно согласился унтер. – Всем в войну плохо. – И сам себе возразил: – Нет, наверно, не всем. Кому война в горе, тот ее не затеет. Значит, кому-то от войны радость и прибыль, если войны бывают. Но это уже не наше дело. Снимай лыжи, пойдем в кузницу, в тепле побудешь. Поешь, что найдется. А в обед мы тебя хорошо накормим. Обед у нас вкусный, старая Хилма варит, стряпать она большая умелица. Сегодня сиеникеитто с перловкой и каламайосса из щуки обещала приготовить. Любишь грибной суп и тушеную в молоке щуку?

– Люблю, – без всякого лукавства ответил Микко: он не лгал, в эту минуту он всякую еду любил.

В просторной кузнице, которая, судя по оборудованию, была одновременно слесарной мастерской, даже небольшой токарный станок в ней имелся и за жестяной ширмой работал сварщик, унтер усадил Микко поудобнее, а сам сел на чурбан у двери.

«Почему он так сел? Случайно? Или выход заблокировал?»

– Ешь. Хороший солдат должен быть здоровым и сильным. А чтобы быть здоровым и сильным, надо хорошо кушать. Ай, забыл, старая Хилма позавчера калитки с картошкой пекла, кажется, один остался, – унтер прошел к тумбочке и подал Микко завернутый в обрывок газеты пресный картофельный пирожок. Сам же сел на табуретку у верстака. Путь к двери стал свободен.

«Случайно у двери сел, – понял Микко. Но тут же одернул себя: – Не расслабляйся. Как говорит Валерий Борисович: береженого – Бог бережет, то есть, бережет только того, кто сам бережется».

Заморив червячка картофельным пирожком да смородиновым отваром, Микко убрал галеты обратно в сумку.

– Спасибо за угощение.

– Подкрепился? Вот и на здоровье, – ответил Йорма. – Скоро обед, тогда уж тебя как следует накормим. Чужие харчи, даже у родственников, не всегда жирные и сладкие. Отдыхай пока здесь, в тепле. А мне без дела сидеть некогда.

Но отдохнуть Микко не стал. Вначале помог в кузнице, потом вызвался отнести готовую деталь в сарай, там еще на поручение напросился. И до обеда дотошно обследовал и кузницу, и сарай. Насчитал шестерых солдат вместе с часовыми. Заняты ремонтом орудий среднего калибра. Оценил запоры на кузнице и сараях, осмотрел возможные подходы к ним с разных сторон.

«Значит, мастерские. Мастерские-то мастерские, да какие-то не такие. Зачем держать мастерские вне расположения части? Ладно бы вблизи передовой, где нужен мелкий, но срочный ремонт. И в котле над костром не вода кипит, а гудрон плавится. Странные мастерские... чепуха какая-то, а не мастерские...»

В одном сарае пушки, а другой, самый большой, заперт. Тропинка туда протоптана, от ворот снег откинут, но следы только от лопат, от самих ворот полукружья не видно, значит, давно не открывались. Ворота на замке и печать висит, значит, тропинку часовые протаптывают, когда запоры и печати проверяют. Может быть, его для дальнобойных приберегают? Может быть. Но все же странности здесь бродят, не сходятся концы с концами.

Завершив дообеденный урок, солдаты потянулись в «казарму», стоявший неподалеку от сараев дом из двух больших комнат, одной маленькой, прихожей и кухни.

Двери комнат открыты. И Микко то с одним солдатом поговорит, то к другому с поручением сбегает, то хозяйке предложит помощь – не только вызвал тем к себе их расположение, но и весь дом обследовал. В больших комнатах насчитал по четыре солдатских кровати, а в маленькой, обустроенной получше, кроме кровати и тумбочки, стоял еще дощатый стол и обитый железом сундучок, видимо, для документов.

«Кроватей восемь, а солдат шесть. Какая-то несогласовка. Может быть, свободные? Вряд ли. На каждой оставлены аккуратно сложенные вещи».

Старая Хилма оказалась не такой уж и старой, а разбитной голосистой бабенкой лет пятидесяти.

– Йорма, это новый командир вместо тебя?

– Бери повыше. Он главнее нас всех. И мне приказывать будет. А я буду вытягиваться перед ним по команде «смирно!» и отвечать: «Есть, господин офицер! Так точно, господин офицер!»

– Откуда ж такой главный взялся?

– Сирота. Родители без вести пропали. Может, погибли, а может, большевики в Сибирь сослали. А он ходит по родственникам, то у одних покомится, то у других, – уже серьезно ответил унтер-офицер.

– Тебя как зовут?

– Микко Метсяпуру.

– А родственники твои кто?

– Раз я Метсяпуру, то и родственники Метсяпуру, – ответил Микко. Но тут же прикусил язык – как бы таким тоном не обидеть Хилму.

«Одно из правил поведения разведчика, – наставлял его Валерий Борисович, – никогда ни с кем не ссорься, чтобы ни у кого не было желания напасть на разведчика». А такую промашку он вчера уже допустил с парнями. Не дело!

– Антти Метсяпуру из Рауту, Теуво Метсяпуру из Мянникке, Николай Олкинен из Ляскеля, бабушка в Раухумаа, возле Ляскеля живет, – стал сглаживать ответ Микко.

– Нет, не знаю их... Хотя подожди, зять у меня служит, так у них командир тоже Метсяпуру... полковник Метсяпуру...

– Если полковник Эйно Метсяпуру, то родственник отца. Правда, дальний.

– Может быть Эйно, по имени я не спрашивала. А что ж полковник Метсяпуру тебя к себе не возьмет? Уж он, наверно, не впроголодь живет.

– Я его не видел никогда, знаю только, что он есть. И служит где-то в Лапландии. Туда за три года не дойдешь.

– Письмо напиши.

– Письмо... Про письмо я не подумал. А если и напишу, куда он мне ответит, у меня ведь дома нет.

– Дай адрес кого-нибудь из родственников, к кому чаще заходишь. Сейчас ты к кому идешь?

– К Юлерми Пюхяля в Киеромяки.

– Пускай полковник Метсяпуру пришлет этому Юлерми для тебя ответ. А ты, если сейчас не дождешься, потом зайдешь и заберешь письмо.

– Не трогали бы вы Юлерми, ему не до писем сейчас, – неожиданно вмешался один из солдат. – У него осенью жена умерла, а он в ней души не чаял. И так живет, будто ему сосульку в зад засунули, а тут еще вы со своими письмами... Ты знаешь, что Сильва, жена Юлерми, умерла? – обратился он к Микко.

– Да, родственники говорили. Она двоюродная сестра моего отца.

– Тем более знаешь. Придешь в Киеромяки, там у твоего дяди есть друг, Эрkki Маслов. Эрkki мой шурин, брат жены. Увидишь его, скажи: Рейно Пуссинен привет передает и доброго здоровья желает. И еще скажи, как только унтер-офицер Йорма Кананпойка отпустит меня в увольнение, сразу же приду его проведать. А самогон, я знаю, он варит славный. Так когда, господин унтер-офицер, мне с фляжкой в увольнение сходить?

– Обедать пора, а то со сменой караула опоздаем. Арикайнен сердиться будет. Накрывай, Хилма, – господин унтер-офицер не выказал одобрения идее Пуссинена. Впрочем, и запрета не наложил.

Микко скосил глаза на часы-ходики. «Начало первого. Смена караула, скорее всего, в час».

– А в увольнение... – продолжил тему унтер-офицер. – Будь моя воля, я бы вас сегодня же всех по домам отпустил. Но нельзя. Война. Так что будет приказ, кого на Рождество домой отпустить, того и отпущу.

– Сами сегодня на стол соберите, – распорядилась Хилма, – а я пару-другую картофелин потру, да пока в печи огонь горит, мальчишке хоть полдюжины дерунов состряпаю и, сметаны пол-ложки есть, потушу их в сметане.

– Йорма, а на Рождество многих домой отпускают? – Солдаты не хотели оставлять приятную тему.

– Не знаю. Если здесь останемся, то человек трех-четырех, я думаю, разрешат отпустить. Если нас переведут в полк, там как большое начальство решит, но думаю, одного-двух, не больше.

– А бетон скоро начнут завозить?

– Неизвестно.

«Вот это кое-что! Бетон возить... кузница... электросварка... В сарае, где пушки, вдоль боковой стены пуки арматуры... Большой сарай стоит на взгорке. Самое место для огневой точки. Эх, заглянуть бы туда глазком, хоть в четверть глазика... Но как?.. Как? А и заглянем! Лыжи-то возле кузницы остались».

– Хорошо бы и не начали до Рождества. И нас бы здесь оставили...

– Чем-то хорошо, а чем-то плохо. Здесь, конечно, свободнее, никто за спиной не стоит и каждую минуту отчета не требует, лишь бы работу к сроку закончили. И с продовольствием легче: и паек получаем, и рыбу ловим, и хозяева не с пустыми руками приходят, если им сделать или починить что-то нужно. Сытнее здесь получается и свободнее. Зато в полку любое оборудование, любые станки под рукой. И безопаснее. Охрана там все-таки лучше.

– Йорма, раз уж разговор об охране зашел... Если можно, не ставь меня в караул с четырех до семи. Лучше я две смены, с десяти до четырех отстою, чем одну с четырех до семи. Для меня утренний сон самый важный, – попросил Пуссинен.

– Если кто согласится поменяться с тобой, то я не против. А завтра или послезавтра с рыбной ловли Суойоки и Карполо возвратятся, дадим им денек отдохнуть, а потом так и оставим: днем две смены по шесть часов, а на ночь установим шесть смен по два часа. Согласны?

– Ты старший, тебе решать.

– Значит, так и решили. И начало работы, как сейчас, в семь утра оставим. Лучше на час раньше закончим, чтобы с заказами, которые хозяева приносят, допоздна не задерживаться. А то, – Йорма хитровато скосил глаза, – подручный кузнеца не успевает. А, Петри Туокко, где ты там?

– Здесь я, господин унтер-офицер, – отозвался совсем молоденький солдат.

– Расскажи-ка мне обязанности часового, – потребовал унтер-офицер. – И особенно подробно изложи тот раздел, где написано, как часового Петри Туокко должен целоваться на посту с Кюликки Харьянен.

– Когда?.. – солдат смутился и оттягивал неприятную часть разговора.

– Вчера вечером.

– Мы не целовались, мы рядом стояли.

Солдаты рассмеялись, и Йорма фыркнул:

– Только и всего? На посту!

– Пришла... Как прогонишь? Не винтовку же на девушку поднимать...

– Йорма, я б такую тоже не смог прогнать, – вступился за товарища Пуссинен. – И фигуркой ладная, и личиком пригожа, и попка кругленькая.

– Что вы к парню пристали? – набросилась на них Хилма. – Посмотрите, совсем в краску вогнали!

– Ты, Хилма, в солдатские дела не встревай, – урезонил ее Йорма. – Тут не шутки, тут война. И до передовой, если пораньше встать и хорошо идти, к вечеру на лыжах добежать можно. А партизаны и русские диверсанты еще не перевелись. Заговорятся и обоим по ножу в спину.

– Господи, помилуй! – испугалась Хилма.

– А потом и нас, сонных, как хорь курей, передавят. Так вот, Петри, чтоб от греха подальше, будешь на посту вместо Пуссинена, с четырех до семи, а Пуссинен с часу до четырех. А если еще хоть раз ты на посту с кем-то «рядом стоять» будешь, посажу в личное время под арест. В нужник. С винтовкой. И когда кто-то из нас будет туда заходить по нужде, ты будешь стоять рядом и делать винтовкой «на караул». Понял?

– Понял.

– Да еще отцу Кюллики скажу. А он человек суровый, и разговор у него короткий. После такого разговора ее круглая попка цветом станет, как спелая клюква.

– Не надо, – попросил солдат.

– Не надо... Тогда служи, как полагается.

«Две смены с десяти вечера, то есть с двадцати двух до четырех ночи, и одна – с четырех до семи утра. Получается, ночью часовые стоят на посту по три часа. А днем... Смена, предположительно, в тринадцать. И по шесть часов... Тринадцать минус шесть – семь, в семь унтер сказал, начало рабочего дня, а тринадцать плюс шесть – девятнадцать, а от девятнадцати до двадцати двух – три часа. Значит, в течение суток смена караула: в семь, в тринадцать, девятнадцать, двадцать два, час, четыре и опять в семь. Сутки замкнулись, – проанализировал Микко. – А через два-три дня, когда еще двое вернутся с рыбалки, днем так и останется, а ночью в девятнадцать, двадцать один... и так далее до семи утра. Все».

И грибную похлебку, и щуку, тушенную в молоке, солдаты ели, не торопясь, но увесисто, как привычные к нелегкому труду крестьяне делают свою работу. И даже в форме они больше походили на крестьян или на артель мастеровых, чем на военных солдат.

На Микко за столом особого внимания не обращали, но, как бы сама собой, грибная похлебка в его миске оказалась погуще и молоком сдобрена побелей. Куски щуки ему выбрали самые лакомые и столько положили, что в миску едва поместились. Но и в отвыкший от обильной еды желудок мальчика они не помещались. И нельзя есть всю еду сразу, этому правилу блокада научила. Кто не делил свой дневной паек на порции и не растягивал на весь день, тот долго не жил. А если съел за один раз, да еще впопыхах, да пуще того, прячась от других – дней его жизни осталось меньше, чем пальцев на руках.

Микко отломил один небольшой кусочек, прожевал, проглотил.

– Почему не ешь? Не вкусно? – удивилась Хилма.

– Не помещается, – виновато улыбнулся. – А Вы, тетя Хилма? – Микко заметил, что сама Хилма к столу не садится.

– Я дома поем.

– Хилма постится, пост сейчас Рождественский, – пояснил Йорма. – Это мы, грешные, постов не соблюдаем.

– Какой солдату пост? – удивилась Хилма. – У солдата и без постов жизнь постная.

К концу трапезы успели тушеные в сметане картофельные оладьи. Хилма переложила весь урожай дерунов в миску Микко и посетовала:

– Яичко б в деруны вбить, вкуснее были, да куры сейчас не несутся.

Микко попытался было поделить лакомство на всех. Солдаты отказались, а Хилма даже обиделась за своих подопечных:

– Они у меня голодные не сидят, – и наклонившись, шепотом, но чтоб слышали все, добавила. – Я им к Рождеству, у себя дома, бражки поставила. Как же мужикам на Рождество не выпить? Грех, – и в голос удивилась. – Что, и деруны не помещаются?

– Не помещаются.

– Ладно, я тебе с собой заверну. И рыбу, и деруны. А меня ты все-таки послушай. Напиши письмо дяде своему, полковнику. Слышишь, что говорю? Обязательно напиши.

– Напишу, – Микко согласно кивнул.

Пообедав, солдаты разбрелись по комнатам немного отдохнуть до конца перерыва.

– Микко, родные братья, сестры у тебя есть? – поинтересовался Йорма.

– Нет. Я один у родителей.

– А у меня четверо. Два мальчика, Ирве и Юкки, и две девочки, Маарит и Ойли. Дочки средние, уже матери помогают. Ирве самый большой, тринадцать лет, сам на охоту ходит. Силки ставит. То зайца принесет, то глухаря. Зимой белку из малопульки бьет. Хорошо стреляет. Как подросток, ни одной шкурки выстрелом не испортил, все выстрелы в голову белке идут. И чаще всего – в глаз. Добрый охотник будет. А Юкки еще растет. Забавный. Весной всех рассмешил, я как раз дома был, на побывку на двое суток ездил. Жена корову подоила, пришла в дом и говорит: «Черных птиц видела, но не разобрала стрижи это или ласточки». А младший с серьезным видом: «Раз черные, значит вороны. Ты что, ворону не узнала?»

И Йорма ласково рассмеялся, вспомнив эту незатейливую историю из семейного быта.

Отдых закончился, солдаты вставали со своих коек, собирались на работу.

– Хилма, – унтер-офицер указал на Микко. – Дай ему с собой хорошую рыбу.

– Сама, думаешь, не догадалась? – старая Хилма, похоже, немного обиделась. – Я ему из бочки сига выбрала. На крышку положила, чтоб рассол стек.

– Правильно сделала, – Йорма, как и подобает серьезному мужчине, не собиравший обращать внимания на женские обиды.

Унтер-офицер, сейчас в роли разводящего, повел солдата сменить на посту Арикайнена. Остальные – на работу. Микко взялся было надевать лыжи и зажался, заперебирал стиснутыми ногами.

– Можно... за сарай... забегу?

– Беги, беги, – рассмеялся мальчишечьей беде Йорма.

Микко забежал за большой сарай, порыскал по тесовой стене, нашел щель между досками. Точно! Не ошибся он! Котлован в сарае и арматура из котлована торчит. Больше здесь делать нечего.

– Спину береги, а то почки застудишь, так и будешь за каждый угол бегать, – поостерег Арикайнен мальчика.

– Хорошо, спасибо, – взмахнул на прощанье лыжной палкой и съехал к дороге.

«Ремонтники... Почему на бетонировании ремонтники? А с чего вывел, что на бетонировании? Ремонтники, скорее всего, арматурой занимаются. Да. Арматуру и резать, и гнуть, и сваривать нужно, они умеют, оборудование есть. А непосредственно на бетон, наверно, бетонщиков присылают. Или... Ладно, это уже не принципиально, на войне побольше чем в цирке всяких чудес насмотришься. Я свою задачу выполнил, что они делают, установил».

– Иди обедай, – сказал Кананпойка сменившемуся Арикайнену. – Отдохнешь часок и приходи работать. – Поискал глазами, где Микко, но дома скрывали дорогу. – Жалко мальчишку. Скольких вот так война сиротами сделала.

– Среди людей не пропадет, – рассудил Арикайнен.

– Не пропадет, если от людей будет поддержка. А все равно... Без отца и матери жить, как на костылях ходить. Нет, армия должна быть. Солдаты, хорошие солдаты, тоже должны

быть – свою страну охранять надо. Но войны быть не должно. Такое мое мнение. Ну ладно, чего впустую говорить, нас с тобой о прежних войнах не спрашивали, об этой не спросили – начинать ее или нет. И о будущей, не приведи ей Бог случиться, – не спросят. Так что, ты иди обедай, а я посмотрю, как ремонт идет.

От деревни Микко пошел не по дороге, которая петляла между холмами, а напрямую, по лыжне. Углубившись в лес, развоевался. Сначала обратил в копье лыжную палку, сбивая шапки снега с пеньков и выбивая их из развилок. Потом отломал изогнутый, как сабля, сухой еловый сук и, нападая с ним на кусты и деревья, сшибал веточки и некоторые из них подбирал, как трофеи:

«Сосновая палочка потолще – строится дот, немного расщепим вдоль и вставим в расщеп маленький клинышек – строительство законсервировано на неопределенное время. Гарнизон финский, налицо шесть рядовых – шесть тонких березовых. Двое должны прибыть – добавим развилку, через день-два – процарапал два кольца у основания развилки, соединил кольца продольными линиями. Один унтер – еловая палочка. Четыре орудия среднего калибра – четыре ольховые палочки. Неисправные, ремонтируются – немного расщепим вдоль. С этим закончено. Теперь режим охраны...» – вновь стал сбивать, подбирать и обламывать веточки.

Обвязал палочки ивовой корой, засунул их за отщеп разбитой грозой сосны возле лыжни. Отбросил еловую саблю и, отойдя на десяток метров назад, метнул, как копье, лыжную палку в составленный пучок. Это уже на случай, если за ним следят. Промахнулся. Подобрал палку и прибавил скорости – надо торопиться, играть больше некогда.

У въезда в Киеромяки шлагбаум и охрана – финские солдаты.

– К Юлерми Пюхяля иду, в гости. Он мой дядя. Поживу у него.

– Поживи, – не возражает старший. – Только пусть дядя сходит к командиру и предупредит его. У нас здесь режим строгий.

Киеромяки¹⁴ носила свое название из-за северного склона, непосредственного отношения к деревне не имевшего.

Если южный склон холма, чуть выше середины которого степенно текла улица дворов в тридцать, пересеченная переулком, сбегавшим вниз от улицы четырьмя дворами, а верхним концом упиравшимся в сарай, выстроенный при советской власти для трактора, который предполагалось выделить будущему колхозу, был пологим, то северный – почти отвесным. К тому же вкривь и вкось изрезан оврагами и буераками. И подкопан изрядно – в довоенное время жители не только Киеромяки, но и окрестных деревень брали там песок для своих нужд – удивительно ровный и чистый.

Однако сейчас ни сельчане, ни их соседи песок оттуда не только не брали, но и взглянуть на северный склон возможности не имели: несколькими метрами ниже хребта по южному склону, как раз там, где заканчивались наделы, в два ряда тянулась колючая проволока, ограждая северный склон не только от посягательств, но и от взглядов.

Юлерми встретил Микко так, будто они расстались, самое давнее, сегодня утром после завтрака.

– Хювяя пивая, – поздоровался Микко.

– Терве, – ответил он на приветствие. – Иди в дом. Коня распрягу, тоже приду.

В глубине двора стоял запряженный в сани невысокий, но крепкий коник, несмотря на несильный мороз обвешанный сосульками. И дно саней присыпано обрывками бересты и крошками ольховой коры.

¹⁴ Kieromäki – Кривая гора (фин.).

«Дрова из лесу возил. И, скорее всего, не себе – у дровяника ни полена», – определил Микко.

Дом, как, впрочем, и все хозяйственные постройки, был примечателен. Срублены не из кругляка, но каждое бревно отесано в овал, остругано рубанком и проолифлено. Юлерми славился в округе своим плотницким мастерством и тщательностью в работе. Дом был высокий и стоял на фундаменте из буроватого гранита с красиво расшитыми швами меж камней. Дверь, над которой приколочен древний оберег, челюсть огромной щуки, заперта на «карельский замок» – прислоненную палку. Крыльцо высокое, на резных столбах, крытое в один скат тесом, нижние ступени припорошены снежком.

«Снег шел еще утром... С утра дома никого не было. Значит, один живет».

Микко вошел в дом.

Возле входа слева – рукомойник, под ним – ушат. По той же стороне, ближе к середине боковой стены, – печь. Перед печью кухня. Между печью и фасадной стенкой – женская половина, спрятанная за занавеску. В противоположном по фасаду, по-карельски большом, русский бы сказал – в красном углу, три иконы: Иисуса Христа, Божией Матери и святого Александра Свирского. Это мужская половина, самое почетное место в доме. Вдоль всей правой стены, почти под самым потолком, проложено бревно. На нем обычно сушили сети, гнули полозья для саней, а иногда и лыжи.

Карелы в домашнем и хозяйственном обустройстве предпочитали обходиться своими силами и только в случае крайней нужды нанимали специалистов. Не считая богатых, естественно, богатые могли себе позволить наемный труд и без крайней нужды.

Фасад дома в три окна. У среднего, сокрытого занавеской, торцом к подоконнику стоял невысокий стол, возле него – скамейки. У правой стены деревянная кровать, застланная старательно, но не очень умело.

В доме не топлено и оттого неуютно. Однако, невзирая на неуют, довольно чисто, если не считать нескольких невымытых посуды.

Микко развел огонь в печи, искал воды. Нашел немного в чайнике. Это не вода. Взял ведро, коромысло и побежал к колодцу. Когда вернулся, Юлерми был дома.

– Зачем тебе столько воды?

– Как же в хозяйстве без воды? – удивился в ответ Микко. – И еду приготовить, и посуду помыть...

– Еду готовить и посуду мыть есть кому. Мне одна старуха, финка Ирма Леппянен, мать Аймо Леппянена... Знаешь их? Нет? Ну, неважно... по хозяйству помогает. Стирает, готовит, а когда меня нет, скотину кормит и поит. Скотина мне не нужна. Ни корова, ни баран с овечкой, ни куры. Ни рук, ни времени не хватает. Но Сильва их очень любила. Пока не могу от себя оторвать. И навоз нужен. Впрочем, без навоза я в любом случае не останусь. Иконы тоже ее, она православной веры держалась, а я в вере ничего не понимаю. Пусть висят, раз повесила, не мешают. Тем более, что Александр Свирский, Сильва говорила, финский святой, вепс по национальности, родом из Каргопольского уезда, глядишь, поможет когда. Ладно, что об этом... Ирма скоро придет, видела, как я к дому ехал. Разогреет, что вчера варила, поедем.

– Зачем ее ждать? Сами не справимся, что ли?

– Справляйся, – согласился Юлерми.

Печка разгорелась. Микко согрел воду, помыл посуду, разыскал и поставил на огонь вариво. И пока грелась похлебка, достал из своей торбы галеты и сига. Галеты выложил рядом с хлебом, а сига быстро и умело выпотрошил и нарезал на куски.

Юлерми, и прежде в еде непривередливый, поел больше для утоления голода, чем для вкуса. Лишь на нежную, умело посоленную мякоть сига слабенько прореагировал:

– Сам ловил?

– Нет, в дорогу дали, – ответил Микко. Но кто дал, не объяснил: зачем говорить, что был контакт с военными, кто знает, как он это воспримет.

Поев, Юлерми стал собираться:

– К Эркки Маслову схожу. Он говорил, одному хозяину строевой лес нужен, дом рубать собирается, нижние венцы подгнили. Поговорить надо, что и как. Если задержусь, то ложись без меня. На печку, там теплее. Или на мою кровать, тогда я на печку лягу.

– Мне все равно.

– Если все равно, то ложись на печку, я больше люблю в прохладе спать. За занавеску не ходи, там вещи Сильвы. Я сам туда без дела не захожу, не хочу память ее понапрасну тревожить.

Юлерми ушел, а Микко подбросил дров в печку, помыл посуду после еды. Вскоре пришла Ирма Леппянен, высокая ростом, сухощавая и сутулая телом, с темным узким лицом и удивительной белизны тонким платком под шалью.

Дотошно расспросила Микко, кто он таков и по каким делам явился. Вздохнула о Сильве, отметив, какова та была хорошая жена и аккуратная хозяйка. И завершила свои воспоминания вполне философски:

– Все там будем.

На Микко, как на помощника, поначалу смотрела довольно скептически, но когда убедилась, что он не только суетится под ногами, но и прок от него есть, приняла под свое начало.

Велела добавить дров в печку и согреть воды. Когда вода согрелась, развела пойло скотине и поручила отнести пойло в хлев.

В хлеву подожгла лучину и, зажав ее зубами, сама налила пойло низкорослой комолой корове карельской породы и двум мериносам, овце и барану.

Потом приказала Микко, чтобы он положил сено в ясли корове и овечкам, да дал бы аккуратно, не трусил на пол, а если упадет какой клочок, чтоб не оставлял на полу, а поднял и положил в ясли. Сама же насыпала ячменя курам. Когда все исполнил, вручила горящую лучину и две впрок, с наказом сидеть и светить, пока скотина не напьется, а куры не насытятся, да с огнем быть аккуратнее, чтобы хлев не спалить. И забрав пустые ведра, вернулась в дом, готовить скотине пойло на завтрашнее утро, а для Юлерми и Микко еду на весь следующий день.

Микко вернулся в дом и доложил Ирме:

– Все. Лучинки сгорели.

– И я заканчиваю. Пойло на завтрашнее утро готово. Сушик варится. Быстро сегодня управилась. И не мудрено, четыре руки не две. Вот сушик доварится и пойду, дома дел тоже хватает.

Помешала уху, попробовала.

– Нет, не разварилась.

– Если только из-за ухи, то чего ждать. Сушика доварить и я смогу.

– Правда, умеешь? – испытала Ирма.

– Варил. И не раз.

– Тогда хозяйничай сам, а я пошла, – согласилась было Ирма. – Нет, погоди... лучше я дождусь, посмотрю, как у тебя получится.

Когда Микко доложил о готовности кушанья, Ирма сняла пробу в две ложки, первую – на готовность, приподнимая губы, ловила зубами то картофелину, то крупинку, проверяла, хорошо ли разварились, вторую, долго причмокивая и перекатывая во рту, – на вкус.

Одобрила:

– На соль угадал, молодец.

И ушла.

Микко подкинул дров в печку, принес еще охапку на завтра и уложил их подсохнуть. Посидел у жаркой печки. Разморило, потянуло в сон. Но дождался, когда догорят дрова.

Юлери все еще не было. Закрыв трубу, налил воды в рукомойник – исстари у карел непроспительным делом, даже грехом, считалось оставить рукомойник без воды на ночь – задул лампу и полез на лежанку спать.

* * *

Скоро уже, через несколько дней Новый год. Этот праздник они всегда справляли семьей. Разумеется, насколько это возможно в коммунальной квартире. Квартира, где они жили, была небольшая, всего три съемщика, жильцов по прописке восемь, а постоянно жили лишь шестеро. Миша с папой и мамой, и Костя с родителями. А Федосеенко, дядя Юра и тетя Лариса, приезжали раз в два года, брали отпуск через год, потому что работали на Севере. В начале лета приедут, привезут всем, всей квартире, подарки. Кому что, а Мише всегда привозили одну большую, трехкилограммовую, и несколько маленьких банок сгущенки. Из большой Миша сгущенку ложкой ел, в кипятке разводил или в чай добавлял, а маленькие дядя Юра научил его варить. Такая вкуснятина эта вареная сгущенка!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.